

# **КАМЕРА ХРАНЕНИЯ**

**ВЫПУСК  
ВТОРОЙ**

**МСМХСІ**

# КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Выпуск второй

Ассоциация современной литературы  
"КАМЕРА ХРАНЕНИЯ"  
Санкт-Петербург  
1991

Составители:

*Д. М. Закс и О. А. Юрьев*

Редактор и художественный редактор:

*С. А. Иванова*

В книге представлены сочинения и переводы литераторов, живущих в России, Франции, Англии и Германии, собранных Литературной ассоциацией "Камера хранения" в п р о т о ж у р н а л, который, возможно, когда-нибудь станет основой для периодического издания. Составители пытались отобразить свое понимание того, что можно назвать условно "модернистской" традицией в литературе. "Модернизм" при этом понимается как культура, осознающая свою трагедию. что естественным образом отграничивает с одной стороны не имеющий духовных оснований "авангардизм", а с другой стороны "советскую культурную литературу". представляющую собой в сущности интеллигентский вариант общесоветской беллетристики.

Для легкого чтения книга не предназначена.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ОТ РЕДАКЦИИ</b> . . . . .	5
<b>СТИХИ И ПРОЗА</b>	
Наталья Горбаневская. Новые стихи . . . . .	7
Леонид Межибовский. Малоизвестный пока превращатель. Рассказы . . . . .	12
Сергей Юрьенен. Рассказы . . . . .	38
Убийство на Разъезжей . . . . .	38
Под крышами Парижа . . . . .	43
Лицей Дидро . . . . .	46
Дмитрий Закс. Стихи . . . . .	52
Валерий Шубинский. Стихи . . . . .	60
Игорь Померанцев. Рассказы . . . . .	69
"…Моя родина одиночество" . . . . .	69
Из дневника . . . . .	79
С букетом роз . . . . .	87
Сергей Вольф. Стихи . . . . .	95
Асар Эппель. Сладкий воздух. Рассказ . . . . .	106
Дмитрий Кочуров. Стихи . . . . .	135
Елена Шварц. Стихи . . . . .	137
Олег Юрьев. Записка на погоне и другие стихотворения . . . . .	147
Леонид Гиршович. Рождество. Рассказ . . . . .	165
Ольга Мартынова. Стихи . . . . .	201
Светлана Иванова. Стихи . . . . .	210
<b>ПЕРЕВОДЫ</b>	
Том Ганн. Стихи. (Перевод с английского О. Мартыновой, О. Юрьева, С. Степанова, Д. Закса.) . . . . .	218
Макс Жакоб. Стихи. (Перевод с французского А. Смир- новой) . . . . .	226
<b>ЭССЕ</b>	
Борис Хазанов. Мост над эпохой провала . . . . .	235





## ОТ РЕДАКЦИИ

Эта книжка — пятое издательское предприятие Литературной ассоциации "Камера хранения". Или второе. Во всяком случае, четыре стихотворные книги ленинградских авторов были выпущены в самом конце 1989 г. под одной обложкой в виде конволютного сборника "Камера хранения" (М., 1989) под маркой московского издательства "Прометей", что объясняется тогдашними законоположениями и практикой. Самоочевидно, что настоящее издание не имеет почти ничего общего с предыдущим — кроме названия, оставленного по соображениям сентиментальности (если у сентиментальности бывают соображения), а также в несколько наивной надежде (надежда же не бывает не несколько наивной) на доброе имя, быть может, заслуженное четверосущным предшественником.

"Камера хранения. Выпуск второй" — по типу нечто среднее между альманахом и журналом, скорее п р о т о ж у р н а л, скорее попытка объяснить себе самим и возможному читателю, что же, собственно, мы хотели выпускать, если бы существовало упорядоченное независимое книгопечатание. Однако отсутствие внешних журнальных примет, в особенности библиографии, которая, по выражению Василия Розанова, "в журналистике нужнее всех отделов", символизирует для нас отказ от претензии "на журнал", то есть на вмешательство в "литературный процесс", в эту почти биржевую (а в советских условиях практически плановую) "игру" индивидуальных и сгруппированных репутаций. Относительная свобода книгоиздания на наших глазах изменила структуру спроса, основанную на забавной оппозиции "хоть что-то — ничего", и соответственно, сокрушила официальный процесс, на этой структуре основанный. Как это ни печально, но эмигрантская и самиздатская литературные системы, еще позавчера казавшиеся вполне автономными, оказались в тесной связи с опровергаемой "советской" литературой и также подверглись быстрому разрушению — то ли оттого, что по первому зову бросились в ее предсмертные объятия, то ли теряя в ее лице незаменимого врага. В результате наше литературное настоящее похоже на добротный разбомбленный город, где среди наскоро замаскированных развалин бродят "живые и мертвые", не узнавая ни города, ни друг друга.

Мы попытались построить домик, по необходимости тесный и непрочный, но годный для временного проживания. О результатах судить не нам. Чем больше будет таких домиков, тем скорее город отстроится по иному проекту, а вернее не по проекту, а по естественно-

му ходу событий, тем скорее живые найдут себе крышу над головой, а мертвецы отправятся восвояси.

И еще одно необходимое замечание. Марка "Камеры хранения" вовсе не означает в данном случае какой-то особой эстетической близости участников книги. Каждый из них представляет только себя и отвечает только за себя. Среди авторов литераторы разного возраста и разной известности, живущие в разных местах мира, может быть, по разному относящиеся друг к другу (если вообще относящиеся) и к литературе. Семеро из них — члены Ассоциации "Камера хранения" (кстати говоря, не имеющей никакого членства, устава и определенной структуры), остальные скорее всего не имеют об этой "Ассоциации" никакого понятия. Мы попытались собрать книжку в согласии с нашим вкусом и представлениями "об изящном" и нисколько не претендуем, естественно, на абсолютность этого вкуса и этих представлений. "Мы" относится только к тем, кто непосредственно занимался этой книгой и не распространяется ни на кого другого, даже на остальных упомянутых "ассоциантов", выступающих здесь на совершенно равных с прочими правах. Вот, пожалуй, и все. Плод нашей затеи перед вами, судите о нем не по нашим намерениям, а по своему вкусу.

Адрес редакции: 197183, Санкт-Петербург, Школьная 3, кв. 4.  
Д. М. Закс: L. Mejbivski, Roderbergweg 121 apt 003, 6000 Frankfurt  
60, BRD.

*Наталья Горбаневская*

## Н О В Ы Е С Т И Х И

\* \* \*

Уходит поезд и увозит повесть,  
которую уже нам не дожить,  
как будто рассекли грудную полость  
и через рельсы не смогли зашить.

Уходит поезд. Собственно, ушел.  
Ушел и фигурально и буквально.  
Прощального платка прощальный шелк  
шьет ложный шов каденции финальной.

Как будто рассекли грудную полость  
и вынули оттудова — но что?  
Ржавый будильник, обе стрелки порознь.  
и циферблат щербат, как решето.

\* \* \*

И слухом растительный,  
и зреньем животный,  
прельстительный, мстительный  
и бесповоротный,  
и порчею тронутый,

как яблочко в лежке,  
и пролитый в омуты  
на гребне дележки,  
и, вновь на иголочном  
ушке успокоясь,  
травой Богородичной,  
кентавром по пояс.

\* \* \*

*Animula vagula, blandula ...*

Душенька блуждающая, нежная,  
бландула, вагула анимула,  
твои шутки, шутиха, — безнадежные,  
твой любимый отель — мое немилое

тело. Да и много с нас толку ли?  
На торгу, на толкучке суетной  
затолкали нас обеих, заторкали.  
И куда теперь? Перетасует ли

парка старая гаданье наново?  
И что выпадет — Вытегра, Няндомы,  
Колывань, или Тамань, или Иваново?  
Анимула вагула, бландула.

\* \* \*

Быльем поросло и бурьяном,  
что было и буром сверлило,  
бураном буравило рьяным  
и ярой горелкой палило

сильнее ацетилена.  
А ныне и пена незрима  
на камне, забывшем прибой.  
И сетью вчерашнего плена,  
заброшенной мимо,  
заросшей травой,

не выловишь блеска и плеска,  
не вызовешь дрожи подвздохом,  
не выковыряешь из теста  
изюма, поросшего мохом.

\* \* \*

Знаменье было им: бык  
облак багряный на рог  
поднял, и сотряхнулось  
все бытие градобитьем.

Знаменье было им: облак багряный  
бык воздел на рог,  
Господи, твой виноградник,  
лозы, побитые градом.

Знаменье было — им или нам,  
бык или облак, град или город,  
знамсье или знак,  
паволока или покров.

Или багряная плащаница,  
зашитая через край,  
где в смертном поту отпечатались лица,  
не дошедшие в рай.

\* \* \*

Проглотив девяносто обид,  
я скажу непреложно:  
если мышка за печкою спит,  
значит, счастье возможно.

Если "Спи-моя-радость-усни"  
значит, не расплескалась  
та, что красит счастливыми дни,  
серебристая малость.

\* \* \*

Маковым цветом, лаковым  
летом, вдогонку прожитым,  
светом неодинаковым,  
ярким, а то и крошевом  
пасмурным, мжистым, маревным,  
в неба котле разваренным.

Летом, какого не было,  
нету и не предвидится,  
арией из "Онегина",  
армиею-провидицей,  
гаубицей на засеке,  
спасшей весь мир от засухи.

Жаром ядра чугунного,  
дымом сухих торфяников,  
паром сиянья лунного,  
крепостью мятных пряников,  
милого сердца крепостью,  
красного лета лепостью.

Пенками от варенья,  
мелким песчаным дном —  
как первым днем творенья  
и как последним днем.



*Леонид Межибовский*

## МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ПОКА ПРЕВРАЩАТЕЛЬ

### ИСКУССТВО БРОСАТЬ ЛИПУЧКИ

Рука заведена за голову, кулак с затаившимся в нем комком липкой ленты заброшен к лопатке.

Медленно рука распрямляется, кисть зависает над плечом и остается там, пока я выбираю цель. В жару улица малообитаема, и ничего подходящего я не нахожу.

Я стою вполоборота к солнцу, и обращенная к нему половина меня прогревается, поднятая рука растет и вытягивается вдвое. Кисть краснеет, большой палец отгибается, и из пятнышка засохшей крови у ногтя вылезает продолговатая, витиевато сужающаяся к кончику почка. Добравшись до размера бобового стручка, она прорывается, и коричневатая, прозрачная виноградинка вылупляется из нее. Крупный, с воробья, комар, отмахивающийся веером от жары, срывает ее на лету. Я пытаюсь перехватить похитителя второй, еще нормальной, рукой, но она коротка и не достает до него.

Жара постепенно спадает, и рука постепенно же возвращается к привычной длине.

Улица оживает и наполняется событиями.

И я делаю выбор.

---

© Леонид Межибовский, 1991

И я разворачиваюсь на цель — стального цвета пуделя, поднявшего ногу под елкой, вечно зеленой у балкона, на котором...

Вадик Беломелову однажды приснился сон. Вадик Беломелов летал оборотившись соловьем, потом обосновался в ветвях той елки и пускал залихватские трели, наблюдая между делом, как с того самого балкона его квартиры я покушался на пуделя.

... Рука напрягается, пальцы готовы разжаться, и ладонь вот-вот согнется в три погибели и вытолкнет липучку. Та начнет пикировать, затем раскроется, вытянется во весь рост и мягко опустится на нуждающуюся собачку.

С цели сбивает меня Вадик. Он сбивает и ленту с прицела.

Он подкрался сзади, встал на цыпочки, ухватился за грозную мою руку и ... я выдернул ее и отскочил. В животе забурчало — то шевельнулось недоброе.

— Чего тебе? — сердито спросил я.

— Я только хотел посмотреть, что у тебя там, и ничего, ну совсем ничего больше, — сказал Вадик; наклонив голову и вобрав ее в плечи, он принял извиняющийся вид вопросительного знака и лукаво постреливал глазами из-под верхней его закорючки.

Он был обходчив, а я — отходчив.

— А ты угадай, — предложил я, перенимая лукавство.

— Камень?

— Нет.

— Птица?

— Нет. А какая, ты думаешь, там может быть птица?

— Хованская, какая же еще?

— Нет, не она.

— А если я скажу, что там лошадь, ты спросишь какой она масти?

— Может быть, и скажу.— утвердил я догадку.

Вадик высунулся за перила и заглянул вниз.

— А в кого? — спросил он, внимательно разглядывая низ.

— А ты угадай,— сказал я.

Вадик сложил пальцы в кулак, оставив указательный указующим, а большой большим и оттопыренным, опер для верности этот пистолетик на запястье другой руки и направил его на улицу.

В целях, оказалось, он разбирался лучше, чем в средствах.

— В этого? — спросил он, наставляя оружие на пуделя, который уже справился со своими делами и собирался покинуть гостеприимную сень елки.

— Да,— сказал я,— не трогай его, он мой.

— Только чтобы шуму потом не было, а то вон какой рядом пасется,— предупредил Вадик. Перевел пистолет на собачьего хозяина и разрядил в него обойму.

Я не был из тех лопухов, которые бросают и х , почти не глядя, куда и на что они попадут, да и попадут ли вообще, а затем в ужасе от собственных храбрости и безрассудства прячутся в какой-нибудь темный угол или под кровать. Или — наоборот — вместо того, чтобы вовремя смыться; они дожидаются, когда липучка настигнет жертву, та вострепнется, заметит бомбардира и отомстит.

Мне же зазевавшийся зевака или кто случайный случится поблизости — не подходили. Я всегда старался найти кого-то поособеннее, но везло мне не часто, и я редко бывал по-настоящему удовлетворен. Клопомор, которому больше приходится иметь дело с тараканами, поймет меня. Я не был узким специалистом, скажем,

по тонконогим толстякам или дамам в шапокляках — диапазон моих избранников был велик. Наверное, чью-то способность (например, пуделя) стать моей целью, откликнуться (пусть даже вынужденно) на мой порыв я ощущал внутри себя.

Я бросаю липучку, с размаха падаю на пол и уползаю с балкона, и возвращаюсь к отложенной с утра шахматной партии.

В попадании же я не сомневаюсь — глаз и рука никогда не подводили меня.

Пауза. Половину ее заняло падение ленты, а вторую — осмысление пуделем происшедшего.

И вот он засуетился, завизжал, перекрывая визгом уличный шум, а суетою — движение. Он завертелся вокруг елки, потом стал кататься на спине в тщетной (ибо я пользовался качественными липучками) надежде отцепиться, а затем, словно с цепи сорвавшись, ринулся по кривобоким эллипсам вокруг елки. Его хозяин устремился на помощь, но безумствующий пудель уже ни на что не обращал внимания. И они бежали один за другим, но собака была скорее на ноги, и расстояние между ними сокращалось — она нагоняла хозяина.

Часть тротуара и проезжей части, по которой хозяин носился со своим несчастным, обступили пешеходы и водители. Они раздавали советы и кляли негодяя. Громче же всех, что все видела и все знает, и не позволит негодяю уйти от возмездия, верещала крохотная старушка в шапокляке, сдвинутом назад на ковбойский манер.

Наконец, хозяин выдохся и остановился, пудель налетел на него, споткнулся и упал, и уже очутившись в освободительных руках, жалобно заскулил.

Вадик сосредоточенно думал над тягостной для его короля позицией. Я тоже сосредоточился

и наметил окончательную для того короля комбинацию.

Наблюдать уличный кавардак я мог в просунутый в форточку перископ, но конструктор снабдил его кривыми зеркальцами, и картина получалась искаженной и не очень веселой.

— Ну и шуму из-за тебя, а мне тут думать надо,— сказал Вадик.

— Ничего, ты еще поборешься,— пообещал я.

Он нерешительно двинул слона на а5 и медленно убрал с его шеи палец.

— Слон — не синица, вылетит — не поймаешь,— сказал я, довольный тем, как точно рассчитал ходы.

Пудель благополучно избавился от свалившейся на него напасти, и шум кончился.

Мы сделали еще несколько ходов, и вадикова погибель стала очевидна и ему самому.

Но в решительнейший момент — во спасение короля — позвонили в квартиру. Вадик было вскочил открывать — и не успел: Анна Сергеевна, его мама, открыла без него, и он остался у разбитого войска.

— Кто это к вам? — как мог небрежнее спросил я. Между тем, неприятное подозрение уже прыгнуло за назуху, забеспокоилось там и отвлекло меня от грядущей победы.

— Не знаю,— сказал Вадик. По его растерянному лицу я понял, что подозрение скакнуло и к нему.

— Лучше бы я просто проиграл, чем это,— обреченным голосом произнес Вадик.

— Ничего, образуется как-нибудь,— утешил я его.

Мы прислушались. Из-за двери доносились голоса, причем преобладал в разговоре голос незнакомый и раздраженный.

Через три с половиной минуты коридорной напряженки и конфронтации в комнату заглянула хмурая Анна Сергеевна и вызвала нас к барьеру.

В коридоре мы обнаружили пуделя и его хозяина, — солидного, мордатого, пыщущего здоровым негодованием дядю, — двумя пальцами он брезгливо придерживал злосчастную ленту.

Пудель увидел сначала Вадика и зашелся лаем, но, разглядев и меня, стушевался и, протиснувшись в приоткрытую дверь, сбежал в лестничную клетку.

— Чья? — спросил дядя, размахивая перед нами липучкой.

— Моя, — ответил я.

Признание почему-то еще больше рассердило его, и он опять открыл рот.

Анна Сергеевна шагнула от него, как бы отталкиваемая гневом, и негодуяще посмотрела на незваного гостя.

Он приосанился, пригладил усы и бакенбарды и представился:

— Николай Петрович.

— А пуделя, кстати, как? — спросил Вадик.

— Не твое дело! — оборвал Николай Петрович.

— А я бы назвал его Вахтангом, — мечтательно сказал я.

— Не твое дело! — снова оборвал Николай Петрович. — Так кто бросил?

— Это я бросил, — сказал я твердо.

— Он, наверное, с мухой его спутал, — вступился за меня Вадик.

— Тебя не спрашивают, — еще раз оборвал Николай Петрович.

— Он вывесил ее, а собачка и попалась, по ошибке, конечно, — не разобралась что к чему, вот и влипла, — гнул свое Вадик. — Где уж ей разобраться: она все-таки

не такая разумная, как кажется, коли орет по пустякам.

Николай Петрович оставил эту оскорбительную для его пуделя версию без комментариев. А я еще более твердо повторил:

— Это я бросил.

Я сообразил, что так как я не сын Анны Сергеевны, а Вадик не виноват, то по домам — ни у Вадика, ни у меня — ругать нас и не будут.

— А если вас интересует — зачем, — начал я.

— Вы даже не представляете, как он здорово бросает, и ему очень трудно удержаться, — объяснил за меня Вадик.

— Это уже выходит за все границы возможного, — взбеленился Николай Петрович. — Я...

— Для меня нет ничего невозможного. Куда хотите попаду. На спор, — перебил я. — Но, может быть, я могу что-нибудь сделать, чтобы вы не обижались и пудель ваш тоже не обижался?

— Ну и чешутся у меня руки, — сверкнув глазами, сообщил Николай Петрович.

Анна Сергеевна подошла ко мне и положила руку на мое плечо.

— Да, понимаю вас, — спокойно сказал я. — А у собаки, наверное, чешутся зубы.

— Да у нее от страха до сих пор зуб на зуб не попадает, куда уж им чесаться, — опроверг меня Вадик.

— Давайте, я извинюсь, — сказал я Николаю Петровичу.

— И будем считать, что произошло недоразумение, — заключил Вадик.

— Мне и очень стыдно, и извините меня, пожалуйста, и пудель ваш пусть тоже меня извинит за доставленное беспокойство, хоть он и сбежал за дверь, что не очень-то и вежливо, но вы передайте ему мои извинения.

ния,— попросил я смиренно.— Я же не виноват, что так замечательно бросаю,— добавил я.

— У него же дар божий, потому что он совсем не ест яичницу,— сказал Вадик.

— Ну..! Нет! Так просто ты не отделаешься! Прежде я тебя отделаю. Стрелок! — свирепо и многообещающе произнес Николай Петрович.

И тут он мне совсем не понравился. Я уже было решил, что недоразумение исчерпано, и думал отпустить Николая Петровича с миром, но его упрямство и назойливость рассердили меня.

Я сощурил глаза, и солидный, мордатый Николай Петрович увиделся мне меняющимся на глазах,— он расплывался, принимая новые, казалось, даже несвойственные ему очертания; и наконец, окончательно приняв вид гиппопотама, стал переминаясь на своих четырех лапах с видом гиппопотама, который не знает, как бы ему половчее удалиться.

Пудель взвизгнул под дверью и метнулся вниз по лестнице.

— Прекрати! — громко сказала Анна Сергеевна.— Перестань издеваться.

Я еще минуту продлил картину, потом широко раскрыл глаза — вместо Николая Петровича в самом деле стоял гиппопотам.

Анна Сергеевна вздохнула и осела на стул.

Я еще несколько раз сощурил и раскрывал глаза, но обратного превращения не происходило.

— Здорово у тебя получается,— восхищенно сказал Вадик,— только нельзя ли его немножко уменьшить, а то ему так и придется остаться в коридоре.

Николай Петрович по-прежнему с виноватым выражением того, что пять минут назад еще было лицом, переминался с лапы на лапу, очевидно испытывая какие-то затруднения.



— А что с ним теперь делать?— спросил Вадик.

— А вам,— обратился я к Анне Сергеевне,— не нужен беспризорный гиппопотам, пусть даже и Николай Петрович? Но зато породистый: смотрите, какие у него усы и бакенбарды!

Она ничего не отвечала, а лишь грустно смотрела на меня.

— Наверное, нужен,— сказал Вадик.— Но он же сколько жрать будет!

— Не бойся, сколько дашь, столько и съест, я их породу знаю,— сказал я.

— И имя у него длинное — в хозяйстве неудобно,— не соглашался Вадик.

— Бобиком назовешь, и ладно,— сказала я.

— Подожди, а он мышей ловить умеет? — не унился Вадик.

История с Николаем Петровичем затянулась и уже порядком надоела мне.

— Поживет у тебя все про него узнаешь,— сказал я.

Тем временем король Вадика свалился с доски, превратился в толстую белую мышь и собирался бежать от поля брани подальше.

Гиппопотам принюхался, фыркнул, уменьшился вдвое, ворвался в комнату, прыгнул на мышь, слизнул ее и облизнулся. Повернул голову и преданно посмотрел на меня.

Я бросил ему пучок укропа. Гиппопотам поморщился, но все же собрал с пола весь урожай.

Тарабаня по перилам мотив колобка, по лестнице поднималась семилетняя сестра Вадика — Танечка. Она вошла, приговаривая:

— А там на улице такой пудель, такой пудель! И дрожит бедненький...

Увидела Николая Петровича и осеклась. Посмотрела на Вадика, пристально на меня, и бросилась к Анне Сергеевне с криком:

— Зайку! Хочу зайку! Он же обещал зайку!

## САМОЛЕТ

— А ковровая дорожка сойдет за взлетно-посадочную полосу. Это же будет совсем маленький самолет и ему хватит ее для посадки, разбега и взлета. Главное, чтобы он прилетел. Поэтому надо открыть окно, а я укуруюсь одеялом, даже двумя, и не замерзну. Обидно, если он прилетит, а влететь не получится.

Мама слушает меня внимательно, держа ладонь на горячем еще моем лбу. Температура сейчас меньше, чем утром. Она постепенно сдается под напором таблеток и чая с малиной, но пока немного упрямится.

— С окном не выйдет, а форточку я приоткрою,— говорит мама.

— Но в форточку он не пролетит.

-- Нет-нет, и не проси. Ты замерзнешь, а если и не замерзнешь, все равно еще больше простудишься. И потом, я не уверена, что пролетит в окно. Это же не может быть очень маленький самолет.

— Может быть, может быть.

— Ведь кроме тебя еще должен поместиться летчик. Ты же не умешь летать на самолете. И вообще не умешь.

— Нет,— возражаю я.— Мне вовсе не нужен летчик. Ничего, что не умею. Мне-то необходим самолет, который бы сам летал. Настоящий самолет. Сам и лет. Куда надо чтобы лет, а куда не надо чтобы лет тоже.

— А что ты сделаешь, когда он прилетит? Ты еще не совсем здоров, и на улицу я тебя не выпущу, даже на самолете.

— Я сяду в него, он расправит крылья и мы полетим.

— Я же сказала, тебе рано на улицу.

— Ну ладно. Мы по комнате летаем.

— Только будь осторожен. Ты же не знаешь правил воздушного движения. А авиакатастрофа все-таки серьезнее простуды.

Мама плотно укутывает меня в одеяло, подтыкает его по краям постели, чтобы случайный сквозняк не забрался ко мне.

— Я схожу в магазин, а ты не скучай,— говорит она и уходит.

Я встаю, подхожу к окну, долго смотрю в него, размышляя, стоит ли нарушать запрет. Но в конце концов решаю, что если он действительно прилетит, то это как-нибудь исправит нарушение запрета. Я растворяю окно и прячусь под одеяло.

Закрываю глаза и вижу сквозь веки самолет. Он подлетает к окну, складывает крылья, потому что окно немного ему не по размеру, и жужжит уже в комнате. Он кружит надо мной, не зная, как бы ему половчее приземлиться.

Я открываю глаза и говорю:

— Стоп машина! — И показываю рукой на дорожку.

Он послушно спускается и вырубивает рядом с кроватью. Мотор глохнет.

Я откидываю стеклянную крышку и в одеяле же вползаю в кабину. Она очень мала, и я с трудом помещаюсь в ней. Но с одеялом расстаться не могу, так как чем выше, тем холоднее, согласно правилам воздушного движения.

Командую:  
— Поехали!

Но он почему-то медлит.

Я догадываюсь, что надо пристегнуться к креслу. Щелкаю карабином замка, и в то же мгновение мотор начинает гудеть, самолет вздрагивает, коротко разбежится по коврику и взмывает к потолку. Аккуратно пролетает сквозь люстру, не потревожив ее рожков и висюлек; лампочки горят, как сигнальные фонари. Проскальзывает в окно, расправляет крылья, прибавляет скорость, и мы набираем высоту.

Мы поднимаемся над моим домом. Еще выше, и еще. Дом уже невелик, и еще меньше, и еще. А сумеречное небо — близко-близко и огромно-огромно. А в небе, на взгляд дома, — уже не я, а точка — крохотная-крохотная.

В высоком, близком, огромном небе я совсем один.

Но что это?

Мотор, до того без помех уносивший меня, вдруг всхлипывает, вдруг недовольно пыхтит, вдруг замолкает. Вдруг ненадолго включается и... Я смотрю на приборный щиток. Почти все стрелки успокоились на нулях. Ведь я же забыл налить в баки горючее! Лишь стрелка высотомера далека до нуля. Страшно сказать, сколько показывает она.

Мой дом стремительно приближается. Приближается мое окно, приближается моя кровать, которую я так неосмотрительно покинул. Все приближается.

... Я больно стучаюсь об пол. В комнату вбегает мама, поднимает меня и возвращает на место.

— Ну вот, — говорит она, — а я-то думала, что ты уже велик, чтобы падать с кровати. И окно открыто, а там такой ветер. Я же только что оттуда. А что это за хлам? — спрашивает она про металлические

обломки, лежащие на коврикe. Закрывает окно, задергивает шторы.

Я один.

За окном снова что-то гудит.

Останки самолета здесь, рядом со мной, значит, соображаю я, если что-то гудит за окном, значит, рядом со мной останки не всего самолета, а его половины. А там — вторая его половина.

Я подошел к окну, заглянул за штору. В темном заоконном пространстве я увидел крыло.

Гудит гудок соседней с моим домом фабрики. Я не люблю эту фабрику. Там связаны рейтузы, в которые обряжает меня мама, выпуская в холод на улицу. Такие рейтузы носят девчонки. Такие рейтузы унижают мое достоинство самолетчика.

Гудок стихает. Я вижу под собой фигурки фабричных рейтузниц, с веселыми шутками возвращающихся с работы.

## ХВОСТ

Однажды у меня вырос хвост. Появился он так незаметно, что я обнаружил его, когда было уже сантиметров тридцать. Конечно, я перепугался и проделал все, что делают, если хотят убедиться в невозможном: ушибнул себя, сплюнул через плечо, зажмурился, попрыгал на одной ноге и помахал руками, да так усердно, что чуть не взлетел. А хвост преспокойно себе опускался, будто издеваясь над моими усилиями, и рос дальше. Вырос он еще на столько же. И оказался довольно симпатичным — мышиноного цвета, с мягким ворсом и с кисточкой на конце. И вот, когда он совсем вырос, он стал показывать, на что способен. Он то вытягивался за спиной и торчал, как ружье, то расслаб-

ленно повисал, а потом обвивался вокруг колен и повиливал кисточкой. В общем, держал он себя вполне прилично. И чтобы окончательно понять, с чем имею дело, я произвел его измерения и даже исхитрился уложить на весы — весил он всего ничего.

Родители сперва не поверили мне. Но я легко доказал им, что не сочиняю. Я приспустил штаны, и они увидели серое подтверждение моей правдивости. Папа нахмурился, но ничего не сказал, а мама спросила горестно: "Что же теперь будет?" — и боязливо потрогала хвост. "По-моему, все в порядке", — ответил я.

Неделю меня водили по врачам. Никто из них в хвостах не понимал, и визиты наши были короткими и безрезультатными. Лишь один старенький невропатолог долго сокрушался о неврозах у детей и прописал мне сладкие и противные пилюли.

В конце концов меня оставили с хвостом и в покое.

За несколько дней я выучился управлять моим новорожденным придатком. Им можно было чесать спину, вытирать пыль, носить легкие предметы и играть на фортепьяно. Так у меня образовалось что-то вроде третьей руки. Вначале она попробовала бунтовать. Я взял хвостом чашку с чаем, а он вместо того, чтобы аккуратно поставить ее на стол, швырнул на пол. Тогда я демонстративно отказался от его услуг и прекратил отношения. Он побыл недолго независимым, затем поник кисточкой и признал мою власть.

Иногда хвост выкидывал какую-нибудь штуку. Впервые это случилось в школе на уроке, когда он вдруг принялся извиваться и хлюпать. Я заерзал, стараясь утихомирить его. Учительница завернула покрепче кран в раковине и выставила меня за дверь.

В другой раз он изловчился, выбрался из своего укрытия и дал подзатыльник моему другу Ване Прагину, а потом напрягся и потащил меня спиной вперед, я

споткнулся и упал. Поэтому, чтобы предотвратить подобные эскапады, я перед выходом из дома завязывал его узлом, отчего он обиженно поскрипывал.

На моем счету было немало разбитых носов и оконных стекол, и других нечаянных, но смелых поступков, и мои приятели относились к хвосту так же уважительно, как и ко мне самому. Правда, однажды один мальчишка вздумал насмеяться надо мной. Я освободил хвост, и он устроил ему хук снизу. Происшествие это еще более укрепило наш авторитет.

Взрослые были со мной очень ласковы, перестали жаловаться на меня родителям и говорили, что я многого достигну. Впрочем, некоторые преувеличивали мои возможности. Как-то к нам зашла старушка-соседка и попросила меня помочь ее болонке, у которой отрезан хвост, и которая сильно от этого страдает. Отказ мой огорчил старушку, но я ничего не мог сделать.

Так я жил, всем и собой с хвостом довольный. Но в один прекрасный день ко мне пришел Ваня Прагин и сказал:

— Дело такое, я думаю. Сейчас у тебя хвост, это не страшно. Но потом у тебя, может быть, вырастут рога, или ты начнешь лаять, или еще что с тобой произойдет, и ты превратишься во что-то такое...

— Какое? — спросил я.

— Такое. Не совсем человеческое, — сказал он.

Его рассуждения испугали меня, хоть я и ничего не боялся. Я долго сомневался, думал, что ничего плохого из хвоста не выйдет, но подозрения жили во мне, и я все же решил распрощаться с ним, ставшим таким милым и привычным для меня.

# МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ПОКА ПРЕВРАЩАТЕЛЬ

## Глава I. ПЕТР ПЕТРОВИЧ ПЕТРОВ

Я сидел на скамейке, оседлав ее как боевого коня, болтал ногами и разговаривал с управдомом Петром Петровичем Петровым. Точнее, Петр Петрович Петров разговаривал со мной. А еще точнее, он жаловался.

Огорчало Петра Петровича то, что в нашем доме живут люди с ужасно редкими фамилиями, и он, Петров, среди них исключение. И от такой собственной своей исключительности чувствует он себя ужасно неудобно и одиноко. А в остальном дом наш ужасно замечательный, и, если бы не фамилии, было бы Петру Петровичу ужасно здесь хорошо и ужаснее лучше некуда.

Я, конечно, всегда готов посочувствовать чужому горю, но что сделать для облегчения Петра Петровича жизни, я не знал.

"Не могу же я дать моим соседям другие фамилии,— думал я,— если они у них и без моей помощи имеются. И выселить их куда-нибудь я тоже не могу. Да и жалко делать их бездомными, даже ради управдома".

Так что ничего хорошего придумать я не мог.

Жалобы Петра Петровича быстро мне надоели, и я подумывал, как бы смыться. Но просто взять и смыться было невежливо, и я вежливо ерзал на скамейке, думая, что неплохо бы управдому поуправлять необитаемым островом.

— Потерпи еще немного,— обратился ко мне незаметно подошедший знаменитый отгадыватель мыслей с близкого расстояния Иван Сергеевич Пиастроном.



## Глава 2. ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ПИАСТРОНОМ

И я остался. Тем более, что видел я Ивана Сергеевича редко, потому что он работал в цирке и часто уезжал на гастроли, потому что был очень знаменитым отгадывателем мыслей с близкого расстояния. А сейчас он только что вернулся из Австралии, и мне было интересно, что думают тамошние кенгуру. Правда, я слышал, как кто-то говорил, что он отгадывает очень простые мысли. Но я в это не верю, потому что где взять столько простых мыслей, даже если и у кенгуру.

— Вы не огорчайтесь, Петр Петрович,— сказал Иван Сергеевич,— ведь наш дом может считаться раритетом, то есть редкостью,— пояснил он для меня.

"Здорово он отгадал раритет,— подумал я,— про Петра Петровича и так все знают, что он недоволен фамилиями, а вот про раритет мы же с ним не договаривались."

— Это же и так ясно, что ты не знаешь этого слова, хоть ты и очень умный,— объяснил мне Иван Сергеевич.

"Здорово у него получается,— еще раз подумал я,— мы же с ним и про то что я очень умный не договаривались, а он и это отгадал."

## Глава 3. АННА КАРЛОВНА СТУДЕБЕКЕР

Тут к нам подошла Анна Карловна Студебскер. Мыслей никаких отгадывать она не умела, если и подозревала об их существовании. И вообще она была домохозяйкой. Мы поздоровались с ней, а я даже первый, потому что вежливый.

Иван Сергеевич внимательно посмотрел на нее, потом на меня, и сказал Петру Петровичу Петрову:

— Скоро что-нибудь поможет вашему недоразумению, фамильному, так сказать, горю.

— Вы думаете? — спросил Петр Петрович.

— Я не думаю. Я отгадываю, в вашем случае во всяком случае, — ответил Иван Сергеевич.

— А скажите, — вступила в разговор Анна Карловна, — кто-то говорил мне, что в июле заморозки ожидаются во всей средней полосе, вы про это ничего не отгадываете? А то ведь ущерб хозяйству выйдет.

— Нет, — ответил Иван Сергеевич, — я же только с близкого расстояния практикую, а до средней полосы далеко, так что ничего утешительного для вас не скажу, но в июле, кажется, заморозков не бывает.

"Лучше бы она меня спросила, — подумал я, — я бы точно сказал, что их не будет, потому что средняя полоса — не Антарктида, чтобы заморозки в июле и ущерб хозяйству."

Я тоже иногда могу отгадывать.

— Ну ладно, — сказал мне Иван Сергеевич, — ты тут можешь поотгадывать, поупражняться то есть, пока мысли простые, а я на базар схожу за черешней.

И знаменитый отгадыватель мыслей с близкого расстояния Иван Сергеевич Пиастроном отправился на базар.

Мне это очень понравилось, потому что я был уверен, что Иван Сергеевич обязательно догадается о моей бескорыстной любви к черешне. И я остался дожидаться его возвращения.

Петр Петрович Петров молчал и следил за моими ногами, подгонявшими славного боевого коня.

А Анна Карловна достала из сумочки конфету и совсем не догадавшись, что я люблю конфеты, медленно и со вкусом разжевала ее.

Так вот. Про меня она ничего не заподозрила, зато первая обнаружила кое-что любопытное.

#### Глава 4. ИВАНОВ ПЕРВЫЙ

— Смотрите, смотрите,— заверещала вдруг Анна Карловна,— кто к нам пожаловал.

Я и Петр Петрович обвели пристальными взорами двор, но не обнаружили никакой живности, кроме воробья, который соловьем разливался на ветке березы прямо над нами, и старушки Плюмплинкиной, которая возилась со своим автомобилем рядом с подвалом.

— Да вот же она, в саду сидит,— уточнила Анна Карловна.

Мы посмотрели. Действительно, в саду, рядом с подсолнухом сидела серая пушистая кошка.

— А где второй подсолнух? — с подозрением спросил Петр Петрович.

Дело в том, что кошка сидела на том самом месте, где полагалось стоять второму подсолнуху. А надо сказать, что это были самые любимые общественные растения Петра Петровича. И Петр Петрович очень беспокоился, как бы им не свернули шеи. В том, что рано или поздно какой-нибудь безвестный любитель семечек все же свернет эти самые шеи, Петр Петрович Петров не сомневался (и правильно делал), но все равно переживал за судьбу подсолнухов.

— Кошки семечками не питаются, значит, она не причем,— вступился я за кошку.

— Да, не уберег,— грустно сказал Петр Петрович.

Кошка приблизилась, мельком осмотрела нас и утавилась на воробья.

Воробей почувствовал внимание, прервал на полуслове свою лебединую песнь и высокомерно чирикнул на кошку. Она вздрогнула.

— Ты не бойся,— успокоил кошку Петр Петрович,— он воробей безобидный.

— Конечно, не бойся,— добавила Анна Карловна,— у него же и зубов нет.

— Если бы у него зубы были,— предположил я,— то у нее сделалось бы нервное расстройство желудка.

— А как ее звать? — спросил управдом Анну Карловну.

— Откуда мне знать? — ответила она.— Можете у нее спросить с тем же успехом, не говоря о результате.

Пока безымянная кошка внимала воробью, во двор вернулся Иван Сергеевич Пиастроном.

Вернулся он с пустыми руками, да и что-то очень быстро он вернулся.

— Извини, что так скоро,— сказал он мне,— но я отошел от дома и тут же догадался, что черешня уже кончилась.

— Да нет, я ничего,— с достоинством сказал я.

Петр Петрович Петров посмотрел по очереди на меня, на воробья, на кошку и на Ивана Сергеевича.

— А не отгадаете ли вы,— спросил он знаменитого отгадывателя мыслей,— как сию кошку звать?

Иван Сергеевич нахмурил лоб, сдвинул брови и стал разглядывать почему-то не кошку, а Петра Петровича, а затем меня. И через минуту разглядывания ответил:

— Это не кошка, а самый натуральный кот, и зовут его самым натуральным именем, а точнее фамилией. Его зовут Иванов.

— Может быть, это самая натуральная фамилия, а не имя? — не поняла Анна Карловна.

Мне всегда казалось, что человек с такой фамилией не может быть очень понятливым.

— Вы где-нибудь видели, уважаемая, кошек, не говоря уже о самых натуральных котах, с именем и фамилией? — рассердился Петр Петрович.— Может, у

нее, то есть натурально у него, еще и паспорт спросить? — язвительно спросил управдом, который хорошо разобрался в том, что у кого можно спрашивать.

— Это именно его имя,— сказал Иван Сергеевич,— я не могу ошибаться с такого близкого расстояния.

— Странное, конечно, имя,— медленно проговорил Петр Петрович Петров,— хотя я тут в смысле фамилий ко всему привычный. А скажите, Иван Сергеевич, не это ли...

— Именно это я и имел в виду,— ответил Иван Сергеевич Пиастроном.

— Когда вы сказали, что...

— Когда я сказал, что что-нибудь поможет вашему недоразумению,— уточнил Иван Сергеевич.

— И как же мне это поможет? — без особого восторга спросил Петр Петрович.

— Очень просто. Вы — Петров, он — Иванов, вот вы и будете теперь знать, что кроме вас, как я уже сказал — Петрова, в нашем дворе есть еще и он, как вы уже поняли — Иванов, и вам не будет так грустно и одиноко как раньше. Компания у вас есть подходящая, в смысле фамилий. А если захотите в домино, то его научите, он способный, я это отгадываю.

## Глава 5. ИВАНОВ ВТОРОЙ

— А это кто? — спросила Анна Карловна, указывая пальчиком вверх.

Мы посмотрели.

На той ветке, где только что пел воробей, сидел Иванов.

— Не понимаю,— признался Петр Петрович Петров и взглянул в сад.

Там рядом с подсолнухом мирно дремал Иванов.

— Может быть, у нас в глазах двоится,— предположила Анна Карловна Студебекер.

Я подумал и объявил:

— Нет. Потому что если бы у нас — четверых — двоилось в глазах, то мы увидели бы восемь котов, а на самом деле видим только двух. Если бы двоилось в глазах у одного из нас, то двух котов увидел бы только он, а остальные по-прежнему видели бы одного. Значит, раз все видят двух котов, то ни у кого в глазах не двоится, и, значит, их на самом деле двое,— закончил я свой ошеломительный вывод.

— Правильно,— поддержал меня Иван Сергеевич.

— А этого как зовут? — спросил Петр Петрович Петров.

Иван Сергеевич пристально посмотрел на меня и сказал:

— Его тоже зовут Иванов.

— Иванов Второй,— добавил я.

— Еще один,— грустно констатировал Петр Петрович Петров.

— Да, специально для вас и для вашего увеселения. Так что вашего полку прибыло,— подтвердил Иван Сергеевич.

#### Глава 6. МАЛОИЗВЕСТНЫЙ ПОКА ПРЕВРАЩАТЕЛЬ

— Я знаю, что надо делать,— заявила Анна Карловна Студебекер.— Я пойду в магазин и куплю для Ивановых рыбы, коли семечками они не питаются.

И она удалилась.

Иван Сергеевич Пнастроном посмотрел ей вслед и сказал:

— Мне надо кое за чем сходить домой.

И ушел.

Петр Петрович Петров о чем-то задумался. А я разглядывал Ивановых: один по-прежнему дремал на месте подсолнуха, а второй раскачивался на ветке березы.

— Даже такой наблюдательный человек как ты, не может заметить разницы, — произнес незаметно вернувшийся знаменитый отгадыватель мыслей с близкого расстояния.

За спиной у него висел рюкзак, в котором что-то шевелилось.

— А что у вас там? — спросил я.

— А угадать ты не можешь? — в ответ спросил меня Иван Сергеевич.

Я нахмурил лоб и стал отгадывать, но как-то не очень успешно.

— Мне очень трудно, но я старался, — сдался я.

— Да и мне нелегко было бы, — признался Иван Сергеевич Пиастроном, — а что там, я и сам не знаю определенно. Может быть, кенгуру, может, попугай, а может, и еще кто другой.

— Как же так? — спросил Петр Петрович. — Рюкзак ваш, а что там — вы не знаете.

— Вот так и не знаю, — ответил Иван Сергеевич.

— Ведь даже нельзя точно сказать, кто ты, — объяснил он мне. — С одной стороны, ты — мальчик, с другой стороны, ты — например, внук своего дедушки, а с третьей стороны — ты, возможно, совсем-совсем другое.

— Например, внучатый племянник моей двоюродной бабушки, — предложил я.

— Нет, я же сказал: совсем-совсем другое, — опроверг меня Иван Сергеевич.

И тут во двор влетела Анна Карловна Студебекер. Вид у нее был очень удивленный. Хотя ее нетрудно удивить, но сейчас, похоже, случилось что-то важное, и даже, может быть, из ряда вон выходящее.

— Вы знаете?! — затараторила она.— Возвращалась я из магазина, и только что у меня на глазах там за домом на газоне сидели оба Иванова.

— Вы, наверное, обознались,— сказал Петр Петрович,— Ивановы здесь.

— Будто я Ивановых от других не отличу,— обиделась Анна Карловна. И добавила,— отличу, отлучу, сличу и случу.

— А где здесь? — спросил Иван Сергеевич у правдома.

Тот посмотрел в сад, и мы посмотрели в сад. Там на положенных местах стояли оба подсолнуха.

Мы посмотрели на березу. Воробей восседал на ветке и прочищал горло, готовясь затянуть свою песнь.

— Ничего не понимаю,— грустно сказал Петр Петрович Петров.

— Так вот,— продолжала Анна Карловна,— сидели они себе и сидели. И вдруг прямо на моих глазах только что они из двух превратились в одного.

— В кого одного? — опять не понял Петр Петрович, который, видимо, почувствовал уже, что компания ускользает от него.

— В одного Иванова,— ответил я.

— Значит, теперь у нас будет один кот? — спросил Петр Петрович Петров.

— Почему кот? — удивился Иван Сергеевич.— Этот Иванов вовсе никакой не кот.

— Но ведь был кот,— вмешалась Анна Карловна,— я сама видела: было сначала два, а потом один остался, но зато самый натуральный кот.

— Так кто это? — с подозрением спросил Петр Петрович Петров знаменитого отгадывателя мыслей.

— Кажется, я догадываюсь,— сказал Иван Сергеевич Пиастроном.— Это малоизвестный пока превраща-



тель Иванов, но это он пока малоизвестный, потому что оччень еще молодой.

— И где же он теперь? — осведомился Петр Петрович.

— Здесь, — ответил Иван Сергеевич и показал себе за спину.

Он осторожно снял рюкзак, развязал веревочку и оттуда вылез я — малоизвестный пока превращатель Иванов.

Петр Петрович Петров недоверчиво посмотрел на меня, потом на то место, где только что сидел я, и о чем-то глубоко-глубоко глубокомысленно задумался.

— Бедненький, тебе ж там душно, наверно, было, — посетовала Анна Карловна и тяжело вздохнула.

— Нет, ничего, — с достоинством сказал я.

Петр Петрович вычерпал глубокую свою думу и спросил меня:

— Почему же я раньше не замечал, что у тебя такая замечательно простая фамилия?

— Вот видите, — ответил за меня Иван Сергеевич Пиастроном. — я же обещал, что что-нибудь поможет вашему фамильному, так сказать, горю. А внимания вы правильно не обращали, потому что тогда он не знал еще, что он малоизвестный пока превращатель Иванов. Даже я только теперь догадался, хоть я и знаменитый отгадыватель мыслей с близкого расстояния.

— А что же мне с рыбой делать? — спросила Анна Карловна.

— Не знаю, — виновато сказал я, — я рыбу не люблю, даже когда кот. мне бы лучше семечек.

— А сколько сейчас? — обратился я к Ивану Сергеевичу.

— Уже четыре часа, — отгадал он.

И я понял, почему так хочу есть, ведь я с самого утра ничего не ел, а только превращал.

Но взять и так сразу отправиться домой или исчезнуть незаметно мне казалось невежливым. И тогда я подумал, что коли я теперь умею превращать, а на балконе у меня стоит кадка с фикусом, то...

## УБИЙСТВО НА РАЗЪЕЗЖЕЙ

Средь бела дня с Разъезжей крик:

— Спасите! Убивают!

В полуподвале парикмахерской меня как раз *превращали в мальчика*, когда раздался крик, лица в зеркале исказились, как в комнате смеха. Мама из зеркала пропала сразу, а парикмахерша все стряхивала ножницы, тряся рукой. Через зеркало за ней с разинутыми ртами мелькали к выходу клиенты с парикмахерами — черные и белые.

Ножницы со звоном разлетелись по мрамору.

В зеркале остался лишь один благородный старик. Во время Блокады у него лопнули барабанные перепонки. Поэтому он не услышал, что на Разъезжей убивают, и, закрывшись на диване страшноватой обложкой журнала "Крокодил", продолжал дожидаться очереди. Со стены над ним в мое зеркало смотрели два портрета — в красно-черной рамке Сталин и его сменивший на посту товарищ Маленков.

Меня уже наполовину превратили: в знак протеста под накрахмаленной салфеткой оба кулака еще были сложены в запрещенные к показу фиги. Кольца волос с золотистым отливом непрочно цеплялись за складки этой белизны, над которой из зеркала смотрел на меня скорбными глазами некто обезображенный. "Локоны, как у барышни", — любясь мной, говаривала бабушка. Сейчас, отрезанные острыми ножницами, эти локоны были обречены на исчезновение. Жалко было их ронять

на серый мрамор, где шваброй эту часть меня сметут, насыпав влажные опилки. Но что теперь поделать? Я разжал свои кукиши и соскользнул на пол. В кармане я имел с собою спичечный коробок — увы, без спичек. Я подобрал три локона позолотистей и задвинул — на память бабушке о том, каким я был. А с улицы тем временем кричали!

— Спасите! Люди добрые!

Кроме двери, на Разъезжую смотрела витрина с золотыми буквами наизнанку. Но снизу в нее видно было только небо — низкое и неприязненное. Салфетка была туго, я не смог. По мраморным крутым ступеням я взбежал к двери и приоткрыл с усилием.

На улице еще было светлей, чем могло показаться из ярко освещенной парикмахерской.

В сплошной стене домов напротив из окон высывались люди. Отчаянно сигналила трофейная машина "BMW", наперерез которой, фартуков не сняв, подбежали продавщицы из булочной на углу Загородного. Убивали на нашей стороне и по соседству: толпа на мостовой стояла запрокинувшись.

Надавав, дверь вышибла меня на тротуар — обвязанного парикмахерской салфеткой.

Над Разъезжей кричала голая женщина.

Направо тут, шагах в десяти, овалом облупленной стены в дом вклинивалась подворотня: над ней, над тротуаром, был в небо выдвинут балкон. Обнесенный с трех сторон решеткой с железными лилиями. Вот в нем, как в клетке, она и бесновалась, прикрываясь одной рукой. С четвертой стороны была дверь в квартиру — высокая, в две створки со стеклами. Женщина прижала к ним ладони и прильнула, глядя внутрь. Потом она отпрыгнула, себя за волосы схватила и вздулась горлом:

— Он Мишу порешил!

Слева от парикмахерской остановился 25-ый автобус, разжал дверки и выпустил своих пассажиров, один из которых подхватил меня и перенес к витрине парикмахерской. Все они, водителя включая, вбежали в толпу — уже большую, как на демонстрации в праздник. За ней послышались резкие гудки. Толпа раздвоилась и выпустила милицейскую карету, которая, распахивая двери, передними колесами въехала на тротуар. Выскочили милиционеры, и, на бегу выдергивая наганы, скрылись в подворотне.

Женщина на балконе руками и коленом упиралась в двери. "Ой, люди! — крикнула она. — Сейчас он и меня зарубит!". И верно: из дома саданули так, что сдвиг дверей треснул, и руки женщины отдернулись. Еще удар, еще!.. Она — плечом, потом она прижалась, пытаясь удержать ногами, затылком и спиной — босая, с распущенными волосами и голая над улицей. как в бане: живот и груди на ней подпрыгивают от ударов.

Еще один автобус выпустил людей:

— Что происходит, граждане?..

И сразу умолкали с открытым ртом.

Над Разъезжей раздался звон железа и стекла — обеими руками женщина закрылась от осколков.

Вдруг, вся в крови, отпрыгнула к перилам.

Ахнув, толпа на мостовой откатилась, давая место. "Назад, дуреха!" — снизу взревел милиционер с усами а ля Буденый, но было поздно: схватившись за перила, она закинула колено, уперлась, оттолкнулась и вывалилась в небо — волосами вниз.

Удар о мостовую был такой, что все оцепенели, а старушка рядом со мной перекрестилась.

Потом все закричали, показывая пальцем на балкон. Оттуда вниз смотрел какой-то гражданин. В рваном дождевике и стриженный под "ежик". Толпа кричала снизу:

— Убийца! Убийца!

Он уронил топор и сжал виски. Схватился за перила и рухнул на колени. Он рыдал и разбивал о лилии свое лицо. Из дома вышел на балкон милиционер с наганом. Потом их стало много: стекло хрустело под подошвами. Они подняли окровавленный топор, оторвали гражданина и увели с собой, закрывши над Разъезжей двери с выбитыми стеклами.

Приближались сигналы "неотложки".

Я спустился в парикмахерскую и влез в кресло. В зеркале передо мной появилась голова — наполовину стриженная, наполовину с локонами. Глядя в "Крокодил", расхохотался благородный глухой старик.

Захлопала дверь. С Разъезжей, потирая руки, возвращались парикмахеры с клиентами.

— Ну, жизнь пошла! — удивлялись они. — Середь бела дня уже убивают. Как каких-нибудь баранов, понимаете.

— АМНИСТИЯ, — повторяли они. — Климент Ефремычу спасибо. Навыпускал бандитов.

— При чем тут Ворошилов? Это все Берия, его козни. А вот будет суд — всплывет!..

— Нет, вас, мужчины, хлебом не корми: все к политике сводят. А тут все просто. Тут Любовь!

За моей спиной появились в зеркале женщины.

— Красивая, молодая! — сказала мама. — Жить и жить!

— А ты на его место встань! Годами лелеешь где-то светлый образ. Являешься, а этот образ какой-то Миша...

— Зинуль! Ребенок.

— ...понимаешь-шь... Любой бы голову потерял!

Превращение в мальчика было закончено при помощи механической машинки и даже внешне похожей на

шипцы для вырывания волос. Спереди они мне оставили чубчик, который подравнили ножницами.

— Освежить?

— Ты знаешь: не стоит. Все равно в баню.

"Тройной" с пульверизатором, с оранжевой резиновой грушей в желтой сеточке отставили.

Салфетку сняли.

Мое место заняла мама, а я влез на диван и, чтобы посмеяться, взял журнал, отброшенный стариком, которому обильно намыливали горло. На передней обложке был свирепый крокодил с вилами наперевес. Я представил, как эти зубцы протыкают мой живот. Я стал вдыхать по-рыбьему, чтоб не стошнило. Голова закружилась. На задней обложке была карикатура на палача какого-то народа: тучный карлик в мундире с ожерельем из черепов, в галифе и сапожках. Стоит в озере крови и держит зазубренный топор. Кровь с топора срысывается каплями в озеро, где плавают, с бессильным гневом глядя, отрубленные головы народа, которому не повезло.

Стошнив на мрамор, я пришел в себя. Маме парикмахерша сказала:

— Сиди, сиди! Петровна подотрет.

Когда мы вышли, движение восстановилось, но под балконом с лилиями еще стояли люди, обсуждая. Сеялся дождик, о котором бабушка говорит "ситничек". Без локонов голове стало холодно. Справа по Разъезжей подходила колонна новобранцев. С чемоданами, рюкзаками и просто мешками молодые люди в пальто и кепках некрасиво валили за военным флажком. Меня потянули с тротуара.

На месте, где стоял автобус, меж сизыми торцами переливалось радужное сияние. Словно не масло из мотора, а обронили павлинье перо. Красиво. А с собой не подобрать.

Меня дернули, отрывая глаза. И я пошел — но выворачиваясь весь назад.

## ПОД КРЫШАМИ ПАРИЖА

В наших разговорах она возникала под кодом "рыжей", что было не совсем точно: когда Филип мне об этом сказал, передо мной проявились альтернативные колечки ее *афро* — тускло, изжелта-золотистые, что в сочетании с тонкой оправой очков придавало провинциалке ненавязчиво левый, вполне парижский вид.

Барбитураты, транквилизаторы... легкую смерть здесь обеспечить себе нетрудно. Даже экологически чистую, если вы склонны к левизне. Яблочные семечки, к примеру: пригорошни достаточно. Рыжая выбрала газ. Специально сменила баллон, втащив к себе под крышу.

"Сама?"

Он кивнул. "Пять этажей..."

"Шамбр де бонн?"

Нет, она могла себе позволить мансарду. Со скошенной стеной и видом на серые крыши.

У Филипа система. Круг одиночек, который он периодически объезжает на их с Полин семейном "рено". Мелькая, забегая, делаясь привычным, он медленно, но верно повышает шансы на то, что рано или поздно застанет одну из подруг в соответствующем настроении. Какая-то студентка медицины, какая-то чилийская эмигрантка, уже под сорок, у которой он в виду предполагаемого назначения собирается брать уроки испанского... Рыжая была среди них. И вот заехавши сегодня, он обнаружил, что она там больше не живет.

Мы спустились, и у стойки какого-то паршивого кафе заказали по пиву.

"Не понимаю", — сказал Филип.



"Никаких мотивов?"

"Абсолютно..."

"Не из-за принца ее?" Имел там место, помнится, какой-то марокканский принц, разрыв, история с аборт-том... чего только нет на периферии моего парижского сознания.

"Не думаю. Принц? Нет, это было давно".

"А ты ее видел?"

"Пару недель назад. Н-никаких признаков".

"Вы с ней..."

"Нет, слава Богу! Так, легкий петтинг. Видишь ли, я не очень настаивал. Не вполне мой жанр".

Мы были последними клиентами. Подперевшись рукой с зажатым грязным полотенцем, бармен ждал, когда мы кончим. Филип взял сигарету из моей пачки.

"Но почему? Крыша над головой, работа. Молодая, здоровая, *на мош...*"

Баллон, однако, не спонтанный акт. Выволочь из багажника; в обнимку втащить по крутой средневековой лестнице (рыжая жила в моем квартале, в Марэ). Акт, предполагающий целеустремленность. Волю к смерти. Чего я не почувствовал в покойной, с которой Филип познакомил меня в альтернативном книжном супермаркете, где она работала не то кассиршей, не то упаковщицей купленных книг. Второй раз (и последний) я видел ее у Филипа на парти, которое устроил не столько он, сколько Полин — по случаю того, что супруга приняли в Агенство. Он пригласил своих подруг. Они ему нравились, как говорят в Париже, *мягкими*. Вялыми, грузноватыми, не очень опрятными. На фоне всех этих брюнеток с нечистой кожей и немнго блестящими волосами рыжая выделялась провинциальной свежестью. В ней была жизнь, куда-то устремленная. Тогда, с вином в руке, она пыталась заговорить со мной, но, впав в комплекс по поводу своего француз-

ского, я сделал шаг в толпу. Очень светлая кожа с нестаявшим еще румянцем и скорее, блондинка, чем рыжая. *Une blonde venicienne*.

Я предложил чего-нибудь покрепче.

"Ты полагаешь?"

"Как ты".

"Не знаю. Может быть, не стоит? Врежусь еще куда-нибудь..."

Мы нашли его машину. Я хлопнул его по спине. Сядь, он ответил взглядом человека, опоздавшего на разбившийся самолет. Слегка стыдливый.

В Париже на вас ничто не давит. Я имею в виду атмосферное давление, этот столб, под тяжестью которого там справа, за Рейном, выдуман *Der Angst*. Здесь легкий воздух. Нечистый, конечно, но когда воскресным утром спускаешься за круассанами, вздох потрясает. Эта вот незаметность перехода изнутри вовне. Ни для легких шока, ни для сознания. Не могу сказать, что самоизъятие полузнакомой девушки из "праздника, который всегда с тобой", нарушило мое равновесие. Здесь исчезают незаметно, не оставляя по себе пустот. Вот только газ, весь этот труд. Зачем? В мире развитой фармацевтики?

Обычно вспоминают случай двух девушек в Руане. Утром их нашли мертвыми в постели — утечка газа, возможно, самопроизвольная. Они сохранили, говорят, счастливое выражение лица, эти подруги, уснувшие в обнимку щека к щеке. Есть мнение поэтому, что данный способ асфиксии не болезнетворен. Эти сведения я нашел в альтернативном бестселлере "Самоубийство: способ употребления". Служащая книжного магазина, она имела доступ и вполне могла обзавестись. Книжка с пылом утверждала право на смерть, но, кроме пафоса, в ней масса полезных советов. Произведя немало шума

в Париже, была изъята из обращения, но даже я сумел достать.

Филип возобновил свои круги. Со студенткой Сорбонны, факультет медицины, ему повезло — если можно так сказать. Когда мы увиделись по поводу его неожиданного назначения в Лондон, Полин после первой бутылки сказала, что у них были *les morpions*. Небрежное это слово в переводе означает "мондавошки". Кошмар, сказала Эсперанс. Открывая вторую. Филип смотрел с невозмутимой наглостью; Полин же опровергла в том смысле, что это было совсем неплохо — *rasé*. Во всяком случае, новый опыт.

## ЛИЦЕЙ ДИДРО

Бутылку выпили, француз не уходил.

Лолу оставлять с ним не хотелось, хотя особых оснований для тревоги не было. Слегка клошардизированный *интелло*: тишотка свежести вчерашней, усат, небрит с позавчера, однако держится пристойно, руки прячет под стол, собранной своею позой выражая, что расслаиваться не намерен. При этом не уходит. Нальют, он выпьет, не нальют — сидит просто так. Русский, он просто так не мог. Тем более, что ни хера не понимал.

Сабо сорвалось, грохнув об пол.

Подтянув босой ногой свою обувь, которую в иных краях педрильной полагают совсем напрасно, русский поднялся и посмотрел в окно.

Югославы внизу свое кафе зашторили, но арабская лавочка еще просачивала свет на перекресток. Лолин смазанный взгляд интенцию одобрил. С каминной доски он сгреб горсть франков.

Деревянную лестницу натерли воском, вынуждая спускаться с осторожностью. Сабо можно носить весь год, и в этом смысле практичней обуви в Париже нет. Но вот проблема: сволочи стучат.

Явившись в паре с этим усачом, Лола представила его как одноклассника. В канун Шестьдесят Восьмого кончали вместе здесь лицей Дидро. Жизнь спустя, а именно сегодня, она столкнулась с ним на Бонн Ну-вель. С местом работы Лоле не повезло: лингвистический ее центр как раз над порно-синема. Хстелось бы знать, чего там одноклассник околачивал — в непосредственной близости, заметим, к общеизвестному кварталу Сен-Дени.

Время давно не детское, однако девочка-арабка в *Ches les mergues* с готовностью вскопчила с консервного ящика. Он показал. Таращась на свет, пацанка выставила запыленные бутылки.

Громыхая через перекресток, русский крепко держал их за горлышки. На углу отсвечивал гофрированной жестью закрытый до конца августа магазинчик, куда обычно он спускался за бумагой. Тоже расходы, но, по крайней мере, не художник...

Запах марихуаны он уловил с порога.

Выложив на стол тощую пачку табака, гость как раз принимал у Лолы свою самокрутку. На кухне русский поставил бутылку под кран и пустил холодную воду. Он еще не пробовал, хотя на Западе уже полгода. Одну бутылку он оставил, а с другой вошел. Они смотрели, как русский срезает бордовый станиоль. Твердой рукой он ввинтил, вынул пробку и разлил — без сучка и задоринки. Гость протянул ему самокрутку. Курил усач деликатно, кончик был сухой. Русский вобрал губы, затянулся и невозмутимо задержал дым в легких.

Через пару затяжек он осознал, что начинает понимать. Ничего великого выпускники лицея Дидро пока

не совершили. Мари-Жо, та вышла за дипломата, сейчас в цитадели империализма. То есть? Где-то под Вашингтоном. Все прочие впитались в поры общества. А он? Ответов не давая, одноклассник допивал и начинал сворачивать по-новой.

Лола стала смеяться первой. Вспомнив преподавателя фрейдизма. В лицей он приезжал на джипе, был неизменно в джинсах и отказывался верить, что всем девочкам в классе приснился один и тот же сон: Эйфелева башня под проливным дождем. Гость кизал. "А про сперму?" — спросила Лола. Про сперму гость не помнил. Как же? Когда биологиня, старая дева-анархистка, вечно вся в черном, предложила добровольцу навестись в сортир со стеклышком для микроскопа — ты же и поднял палец первым? Гость, ухмыляясь, отрицал.

Должно уже и русскому смеяться, но, сколь глубоко он ни затягивался, повода для веселья организм не находил. Вместо того лез в голову проект, Марк Твенем не осуществленный. О встрече Тома с Гekom под старость лет. Жизнь прожита напрасно. *Умирают*. Обливался, помнится, слезами над предвиденным финалом детских авантюр. Сколько было? Лет уже восемь: читал не только книги, но и послесловия петитом. А где все это было?

Не сразу, а с оттяжкой, ухватившись за перильце оконной решетки, он выпал наружу с головой. Свежести ночь в квартал не принесла, но все теперь казалось неживым. Не жизнь, а декорация из переводной пьесы. Всеми торцами, уложенными здесь навечно, сияла мостовая. Отсвечивали вереницы запаркованных машин. Закрылось все, включая и арабов. В доме напротив окна угрожающе темны, но большей частью наглухо зацементированы. Эти вот заложенные кирпичом квадраты неизменно успокаивали — снайперского выстрела оттуда ждать не приходилось.

Эмигрантское кафе напротив лишилось одного клиента, получившего в проходном дворе пять пуль в живот. Убийца благополучно скрылся, и на следующий день по радио новость уже не повторили, хотя в кафе за стойкой переживают до сих пор. Это что касается южных славян. Восточных в квартале пока еще не отстреливали. Но их тут и не было — кроме него...

Нет, алкоголь вернее, подумал русский. Залью-ка я глаза.

Мусор еще не убрали, когда он вышел с гостем. У дверей и вдоль бордюра голубели завязанные пластиковые мешочки. Замазанная вывеска *Hôtel de l'Espérance* проступала над заложёнными окнами напротив. На этой рю, где французы если и бывали, то лишь в гостях, "мерседес" с парижским номером блистал среди помятых и оборжавленных убожеств. Багажник забит был так, что крышку прикрутил он проволокой. Дилер, что ли, с Blois-рынка? С дома свисал трехцветный флаг, на который гость запрокинул затылок. Здание одноэтажное, но это не мастерская аргизана. Опорный пункт полиции, открытый, впрочем, только днём, и то не каждым — тем более, в августе. За ночь от небритости усач совсем почернел, но синие глаза взглянули ясно.

"Деньги мне нужны..."

Имелась, и уже давно, заначка — пятьдесят франков, выстиранных и высушенных вместе с джинсами. Спеша отделаться, русский не раздумывая сунул пальцы в задний карман, но гость поднял руку:

"Три кирпича мне нужно..."

"Тридцать тысяч?"

"Бошам должен вернуть. Иначе, — он чиркнул ногтем большого пальца по заросшему горлу. — У тебя нет?"

Русский усмехнулся.

"Может быть, иди, где достать?"

Их тоже не было.

Пнув по протектору, гость скользнул промеж бамперов на мостовую. Под тяжестью задние его колеса оседали. "Да, мон ами. Живем опасно..." Он подергал крышку багажника. "*Tu veux un fusil d'assaut?*"

"В смысле?"

"АК. *Калашников*". Француз перевернул отсутствующий затвор.

"Сколько?"

Он улыбнулся по-хорошему. "Подарок".

"Мерси..."

"Я в Германию сейчас на пару дней, а там, — и француз подмигнул, — загляну... *Salut*".

Возвращаясь к своему дому, русский слушал, как в тишине квартала машина берет подъем. Калаш, он думал. Перемена жизни...

Лола сказала:

"Это он Мари-Жо невинности лишил".

Как бы Мари-Жо была с ним в одной комнате, тогда как она, подруга, осталась на ночь в соседней, и утром в коридоре с ним столкнулась — он шел в ванную... "Я же тебе рассказывала? — рассердилась Лола, понимая отсутствие реакции как форму изощенной ревности. — Еще в Москве. Не помнишь? Самый большой был *бит*, который я в жизни видела".

Русский закрыл глаза. Он думал, глаза начнут тащить на свет, но веки сразу склеились. "Ты ему не сказала?"

"О чем?"

"Что я по другую сторону баррикад?"

"Он даже не понял, что ты русский. Спросил только, он что, всегда у тебя такой?"

"Какой *такой*?"

"Я откуда знаю. Пугаешь ты французов..."

"Чем?"

Услышав мусорную машину, он вспомнил, что ответа не было. "Чем это я их пугаю, а?" Он нашел ее ягодицу, но кожа пылала.

Она уже спала.

*Калаш* — он думал, отключаясь. Тридцать патронов в диске. Врешь. Так просто не возьмешь...

\*

Гость не вернулся. Больше русский никогда его не видел.

Надеюсь, он хотя бы вернулся в свой Париж.



*Дмитрий Закс*

ARIA D'ACQUARIO

*a Daniela Dinale*

(восемь стихотворений)

1

Я ль не варил золотой кутьи  
С ветром, рекой и К°,  
Но до сухого нитья в груди  
Сердце мое легко.

Я ль не видал, как осенний скарб  
Шел с молотка, дотла,  
Но до пустой ломоты в висках  
Память моя светла.

Я ли с дождем не топил в слезах  
Режущий тьму зигзаг,  
Но как и целую жизнь назад  
Ясно в моих глазах.

Лишь восковой немоты рубец  
Выдаст — обмякший рот,  
Сколько на горле сухих колец  
Сжалось — за каждый год,

Сколь я уже безнадежно врос  
В горькой смолы стекло,  
Словно по горло в нагретый воск  
Пламя свечи вросло,

Словно в сухую смолу огня  
Черный вырастает ствол,  
Словно, как в тающий воск — в меня  
Краткий фитиль вошел.

2

Вот и я, досужий, наудачу  
Оказался в городе лукавом,  
В этой лодке, залитой по мачту,  
По чудным построенной лекалам.

Здесь дворцы — как ракушки на днище,  
Здесь стекло чешуйчатое в рамах,  
Здесь вода обыденно и нище  
Дорогой выклеывает мрамор.

Здесь чужой, по-рыбьи толстогубый,  
Захлебнувшись сумраком внезапным,  
Я дышал процеженным лагуной  
Кислородом праздничным и затхлым.

Здесь по ветхим ракушкам-палатам  
Я бродил, тяжел по-человечьи,  
Привыкал к разбойничьим повадкам  
Венецейской, цокающей речи...

Ну а город чуден был, несветлый,  
Был как вечно собранный к отплытью,



Погляди из-под ресниц  
 Напоследок перед новым  
 Днем, запнувшись о шпиг  
 Светом, воздухом, остовом.

Погляди в последний раз  
 (Месяц — мелкая монета —  
 В речке вспыхнул и погас,  
 Как прощальная примета)...

У деревьев сколь остры  
 Плечики сквозь складки шалей, —  
 Сколь огни твои быстры,  
 Память, пленница деталей,

Жестов, отзвуков -- темна  
 Их череда, реке подобно...  
 Столь же память неполна,  
 Сколь мгновенье непонятно...

Погляди из-под ресниц,  
 Напоследок, перед прошлым,  
 Этот день меж двух столиц  
 Был ли, не был — только прожит.

Город грозен, город весел,  
 Чудно, сумрачно хитер,  
 Сети красные развесил,  
 Невод мраморный простер;

Раскачал меж ветхих зданий  
Черных лодок гребешки,  
Развозящих пряный, дальний  
Воздух, сложенный в мешки,

И под сумраком собольим,  
Чуть ссутилившись, застыл  
Рядом с низеньким собором  
В круглых шапочках простых.

С ним навряд ли станешь дружен,  
Столь он грозен, не грозя.  
Горсткой тающих жемчужин  
Брызнет в праздные глаза.

Приревнует к мелким стайкам  
Волн, взлетающих к губам,  
К легким чайкам-чужестранкам,  
К горожанам-голубям.

Раскачает на прощанье  
В лодке с легкою кормой,  
И как в вечное изгнанье  
Гостя выпустит домой.

6

Вот и был я в твоей стране,  
Где реки не саднит рубец,  
Где земля далека вдвойне  
От закинутых вверх небес.

Черный север, слепой восток  
Сговорились пустить меня

В этот край, где разлит желток  
По сырой штукатурке дня,

Где трезвонит листва, теснясь  
В подвесных колокольнях крон,  
Где в порезах холмов спеклась  
Винограда густая кровь.

Я не знал как уметь любить  
Этот воздух, поющий мне,  
Хриплый голос его ловить  
На короткой какой волне,

Лишь одно — из горчащих уст  
Я вдохнул его влажный жар, —  
Виноградный щемящий груз  
Я в проклятых руках держал.

Ну а свет — он не жег очей,  
Жесткий лавр не колол висок,  
Я вернулся назад в ничей  
Черный север, в чужой восток,

Я такой же как был. Как тот,  
Не слышавший звенящих крон.  
Лишь сладимей и жестче жжет  
Золотая отчизна — кровь.

7

Стала еще безвоздушной ночь,  
Стало в крови черно,  
Стало тускнеть на экранах рош  
Черное их кино,  
Лишь целлулоидный верх реки

Хрипло шуршит к утру...  
Стали до смерти горьки глотки  
В этом чужом пиру,

Стали похмелья еще мутней,  
Словно в ушах навяз  
Скудный мотив этих скудных дней —  
Шорох, да хрип, да лязг,

Словно расплесканы грех да сгъд  
В сердце пустом, дрянном...  
Хватит, уже я по горло сыт  
Черным твоим вином.

Хватит, уже я по горло пьян  
Чашей щедрот твоих...  
Или к щербатым ее краям  
Я навсегда приник?..

8

Все же был он чист и горек,  
Воздух, с привкусом беды,  
Словно пламя из угольев,  
Извлеченный из воды

Парой выстуженных легких,  
Ставших жабрами почти,  
В этих донных рощах ломких,  
В этой тающей ночи,

Где по-рыбьи нем и страшен,  
Брошенный в прозрачный вар,  
Я горчайшее из брашен  
Ртом разорванным клевал,

Где разлившийся по венам  
Этот воздух, горек, чист,  
Смертным сполохом мгновенным  
Кровь густую горячил.

*1985—1991*



## Валерий Шубинский

### СПЕКТР

Я мальчик и вижу, как колется свет,  
Как чистая краска смущает и жжет,  
И дразнит, как цвет налезает на цвет,  
Как мокрая музыка бьется о лед,  
Но вьется дорога к костру моему,  
Где скроются краски в горящем дыму.

Я молод и вижу, как воздух горяч,  
Я вверчен в огонь и не стану другим,  
Все полнится кровью трепещущий хрящ,  
И вещи смывают младенческий грим.  
Но влажные ветви в словесном лесу  
Нагнулись, и облак дрожит на весу.

Я взрослый, я вижу, как облак дрожит,  
Как сосны и люди недвижно стоят.  
Но маленький мир в каждой точке прошит  
Невидимой нитью и этим богат,  
Как пьяный божок, рассмотревший на свет  
В сиянье и в холод одетый предмет.

Я старец и вижу, как мир на свету  
Теряет объем и скрывает цвета,  
Что впору вещам обнажать черноту,  
Когда подступает извне темнота.  
И вся-то отрада, что с той стороны  
Уснувшие краски проснуться вольны.

Я умер и вижу, как ломка стена,  
И знаю, что наспех заделан пролом,  
Но краски... Их узел, их пир — белизна,  
И то, что снаружи зовется огнем.  
Мир стянут до нитки и скатан в клубок,  
И вы не поймете, как я одинок.

О если б пройти сквозь горячую сеть,  
Сквозь звонкую твердь, сквозь головку  
цветка,  
В свободу ослепнуть за право смотреть  
В крушение мира — изнанку зрачка,  
Начало движения к тем, что ушли  
В невидимый спектр — в основанье земли.

1987

### 31 ДЕКАБРЯ 1987

Голубыми искрами полон воздух  
И спускается, отсырев,  
И в морских, безуглых, поганских звездах —  
Загогулины смертных трэф.

Вот сомкнулись пальцы косматых палиц —  
Встали черные мачты, вот  
Легкий сад — довременный постоялец  
Зимней ночи, снявшись, плывет.

Если что, не с ветром ганзейским споря,  
Пел, но с дурью минут и дней —  
Голубиный город у сера моря,  
Город снов и черных коней.

Отсыревший берег, пахучий, ржавый,  
Чуть подернутый серебром,  
Где чуть слышен хлад всех держав державы  
И высокий ее сором.

Белокожий сад в вековом зазоре,  
Нищих лиственниц странный строй,  
И на сотни верст по округе — море,  
Притворившиеся землей.

Что ж еще — в беспамятстве расстоянья  
Между отсветом и огнем —  
И хотеть, кроме гибельного сиянья,  
Растворенного мерзлым сном?

1987

## СЕВЕРНЫЕ СТРОФЫ

Отсвет теплого золота чуть зачах  
В этих мелких, мокрых, немых лучах,  
В поднебесной прозелени льняной.  
Мир боится холода, он ослеп,  
Слишком сыро в беспамятных городах,  
Он стыдится есть этот склизкий хлеб,  
Превращаться в этот промозглый прах —  
Этот мир рассчитан на зной.

На березе облако разлеглось,  
Белый луч вошел, как тугая ось,  
Прямо в сердце ракушки ледяной.  
Чтобы хвойная музыка смела жечь  
Из окраинных, черных своих лесов  
Все, что здесь наклепала кривая речь

Сквозь труху из распаханых голосов —  
Этот мир рассчитан на зной.

Не гаси ж — ведь я еще не готов —  
Этот сливочный, лунный огонь листов,  
Повторяй-ка лучше вместе со мной:  
"В черной коже растений не спится тле.  
Старый сад — горбатый каменный конь —  
Не уйдет в темноту по ничьей земле.  
Если тронешь воздух — сожжешь ладень:  
Этот мир рассчитан на зной."

1989

\* \* \*

Это я, это в медленных всхлипах огня  
Зреет золото — враг и двойник синевы.  
Это, жизнь моя, ты — то, что после меня  
Зашуршит коготками ветвей, это вы.

Разве вспомнить, в какие мильоны я вхож  
Одинаково душных подземных столиц,  
Сколько я износил разрисованных кож  
И прилипчивых, нечеловеческих лиц?

А теперь этот голос звучит, как ничей,  
Мне его не слышать сквозь одышливый Вест,  
Сквозь насмешливый цокот незванных вещей,  
Сквозь завистливый шепот бесплотных  
существ.

Это вы, это пенье стоглазой листвы,  
Мелкозубой листвы золотого литья,

Это то, что в стеклянные трубы травы  
Смотрит створчатые небеса, это я.

Это ты, моя смерть, отразилась в стекле,  
За которым не страшно уже ничего.  
Это те, кого держит на мертвом стволе  
Просторечье огня и воды существо.

1990

\* \* \*

Человечек в зеркале разбитом,  
Мой двойник, крылатый червячок,  
Ты своим беззвучным, рыбьим бытом  
Высосан и стянут в кулачок.

Ты стыдишься быть моею тенью,  
Ты — не я, но что тебя родней?  
Ты — дитя умерших до рожденья,  
Музыкой питавшихся слепней.

Да и сам, бессмертья испытатель,  
За семь дней сменивший столько кож,  
Черных нот внимательный читатель,  
Ты за ноту гнутую сойдешь.

Если время взрыдом или взрывом  
Кончится, из рухнувших пустот  
В полном мире — яблоке червивом —  
Ты ко мне найдешь обратный ход.

Может, я тогда тобою стану,  
А быть может, мы с тобой вдвоем

В облачную взбитую сметану,  
Как в окно раскрытое, войдем.

1990

\* \* \*

Мы, знатоки двусмысленных примет  
Вещей, вещающих заглазным хором,  
Всё ищем дверь в висячий сад, в котором  
Прозрачен звук, ширококостен свет,  
Зачатья нет, и смерти также нет.

Мы призраки; нам, призракам, милы  
Холодных рек глубинные теченья,  
Слоящихся пространств пересеченья,  
Наклонных снов заплывшие углы,  
Где плачутся исчадья полумглы.

Одна отрада бледным свистунам,  
Что с детской негой льнут к словам  
бесполом —  
Зубрить урок, известный тайным школам  
Цветов и насекомых, душным снам,  
Гремучим звездам — но не нам, не нам.

Зато из тысяч в яблоке тугом  
Мы выберем зерно посолонее —  
И звук запляшет, словно Саломея,  
А отзвук вспыхнет суженным зрачком  
И станет — холм, или эфирный ком.

1990

\* \* \*

Два света — лунный и дневной —  
Не различишь, как не гляди.  
Зови их — "тот, что за спиной"  
И "тот, что впереди".

Какой из них тебя обжег,  
Чья кровь желта и горяча,  
Запомнил черный полубог,  
Что спит в корнях луча.

Спроси его, спроси у всех  
Существ, что держат, нежат, жгут,  
Но в пустоту, на постный смех  
Иди — тебя там ждут.

Ты истощишь себя, как смерч,  
Как луч, сломавшийся о звон,  
Слоисто-дымчат, словно смерть  
О тысяче имен.

Но ты придешь еще тайком  
Обратно в этот мир дневной  
Врагом, собратом, двойником —  
Со мной, со мной, со мной.

1990

## ОПЫТ

Когда тебя коснется в первый раз  
Дыхание сгорающего слова,  
Во всех вещах разлит пьянящий газ,

Глядят деревья тысячами глаз,  
И все — задаток бытия иного,  
И даже боль прельщает и родит  
И музыкой себя вознаградит.

Но в час высокой трезвости порой  
Ты видишь кожей узлы той сетки,  
Которой дышащих предметов рой,  
Окутанный воздушною горой,  
Прикован к прутьям междумирной клетки.  
Стареют золото, зелень, синева,  
И белизна берет свои права.

Так, Боже, глухоты и немоты  
Я осознал высокое значенье —  
Не всюду свет, не в каждой точке Ты,  
Глаза деревьев ангельски пусты,  
И только новое переплетенье  
Растянутых и развращенных форм —  
Все, что дается взгляду на прокорм.

Но книгу тленья долистав дотла,  
Прильнув к источнику безмолвной боли,  
Пока твой дух не растворила мгла,  
Ты вдруг поймешь, что жизнь твоя была  
Прощальным даром чьей-то горькой воли.  
Которой высвечен и освящен  
Покинутый и проклятый эон.

1991



## УТРО

Ладони рассвета, жирны и белы,  
Разгладили сморщенный лед,  
И сад, расправляя гнилые стволы,  
Фальшиво и нежно поет.

Слипаются воздух, земля и вода  
В бессмысленное вещество,  
Копя под ногтями свое никогда,  
Лелея свое ничего.

И в пеньи деревьев в такие часы  
Не речь чужестранца слышна,  
А чашек фальцеты и моря басы,  
А громче всего — тишина.

Неужто в сквозную, как свет, тишину  
Стоустый сливается зов —  
В льняную страну, в поднебесье, ко дну —  
Созвучных тебе голосов?

Зачем тебе имя в других временах —  
И здесь ты ослаб и ослеп,  
Зачем тебе время в других именах,  
Бесстыдных, как брошенный хлеб?

И здесь твое имя — Великий Никто,  
И здесь ты безглазая тварь,  
И хищная мышь оправляет пальто,  
На шаг твой направив фонарь.

1991

## *Игорь Померанцев*

### "...МОЯ РОДИНА ОДИНОЧЕСТВО"

Во сне, откинув правую руку, нащупать пустоту и счастливо улыбнуться.

Шоссе, вычерченные лекалом, не сдерживают полета фантазии. Она разбегается, чтобы работать наедине. Край этот вертикален. Если его разгладить и расправить, то получится огромная плоская страна, целый континент. Тогда бы лица туземцев, стремящиеся к профилю, стали широкоскулыми и круглыми. Тогда бы на лицах здешних женщин умещались тысячи поцелуев. Теперь же на остром осколке губы может приютиться пол, от силы две третьих поцелуя. Край этот похож на лошадь, брошенную на спину. Ее тело изображает движение, но не по горизонтали, а вверх. Ветер не бьет в лицо; не развевается бурка.

Я приехал сюда давно, на несколько дней, но так и остался тут. Сперва часто звонил близким, они спрашивали, когда вернусь. Не сомневаясь в искренности своих слов, я говорил: через неделю-другую. Потом, принявшись писать Хронику, перенес отъезд на весну. Я ехал сюда с десятью сорочками, будучи уверен, что мне хватит их дней на двадцать. Сорочки погладила и уложила мама. Стирая пыль с чемодана, она приговаривала: смотри же, меняй сорочки, а не хватит — купи новые. Сорочки эти я давно сносил и, когда в последний

раз, года три тому, говорил с мамой по телефону, сказал, что выполнил ее наказ: купил сорочки.

О, как прозрачен и чист целительный горный воздух. Из него отливают долины и пропасти, он оттачивает форму носа, окрыляет легкие, от него лопаются, как лампочки, головы детей и стариков. Безумные искатели эликсира жизни, оторвите глаза от пузырьков и пипеток, от колб и реторт, хватайте бидоны, кувшины, окна с двойными рамами — и в горы! Идет раздача горного воздуха. Кому добавку? Тянутся, тянутся караваны, груженные воздухом, во все концы света. Но разве удержишься на извилистых тропках над ущельем, разве ухватишься за собственный тонкий крик, тонущий в горячей брани стиснутой валунами студеной речушки?..

Туман, овечье бляение, размытые пятна гор. Острое, как брында, воспоминание. Высокие, полные жизни мать и отец. Резвые голоса сестер, братьев. Отец что-то неслышно рассказывает матери, пока она, улыбаясь, поглаживает его револьвер. Португеза снята, кобура раскрыта. В запахе солоноватого на вкус кожаного ремня угадывается то ли дым, то ли пот. В углу грудой свален привезенный отцом каракуль. Кажется, он лопит. Мы уже знаем: вечером придет закройщик, замерит сантиметром наши плечи и талии, пошуршит шелком для подкладки и уйдет, шепоча цифры. Нет, не выйти нам всей семьей, облачившись в каракуль, пред завидующие очи других гарнизонных семей. Не протягивать закройщику руки за золотым. Не возвращаться больше отцу из набега. Но отчего я вспоминаю все это здесь, в Краю тишины и покоя?

Молчание — здешний язык. Эхо молчания — язык здешних поэтов. Мне пришлось провести в Краю долгие

годы, прежде, чем я разобрался в свойствах тишины. Для тишины у края существует около трехсот обозначений: сырая тишина (закушенная нижняя губа), тишина скандала (отведенный до предела большой палец), тишина повиновения (поджатые ягодицы), тишина разочарования (неподвижная грудная клетка), тишина любви (скошенные до боли глаза) и так далее.

Поэзия же края практически недоступна чужеземцам. Понятен лишь принцип: к примеру, вместо того, чтобы обозначить тишину разочарования соответствующим знаком или жестом, выбирается совершенно иной знак, хотя подразумевается именно тишина разочарования. Лишь благодаря общей атмосфере стихотворения понимаешь дерзость замысла поэта. Шедевры лирики края — это стихотворения, в которых все знаки не соответствуют их традиционному смыслу. Эти шедевры можно понять лишь с оглядкой на контекст жизни и всей поэзии. Кроме того, все усложняется предельно причудливыми строфической и просодией. Долгота цезур колеблется: она может быть равна долготе взмаха ресницы или падения осеннего листа на дно пропасти. Простои и паузы легко объясняются бесчисленными пустотами и пробелами в ландшафте: будь то растопыренные вершины или разбросанные по холму овцы, или растопыренная пятерня (тишина вождения). Впрочем, объяснение это и впрямь слишком уж простое, ибо нет оснований считать, что местность и образ жизни определяют поэзию, а не наоборот. Прозы у края вовсе нет.

Под горами пролегают туннели. Они тянутся месяцами. Можно взять билет на сентябрь и вынырнуть где-то у побережья во второй половине апреля. О подобных путешествиях рассказывают сотни историй. Что может быть привлекательней и страшнее жизни на ошупь!

В составе есть вагон-церковь, вагон-безопасность, вагон-богадельня. Люди, полюбившие друг друга пальцами, руками, знающие друг друга лишь по прикосновениям, как правило, боятся конца пути, упрашивают, приносят драгоценности, валяются в ногах у машинистов: будьте великодушны, Бога ради, убавьте скорость, затормозите, поверните вспять, мы так боимся увидеть друг друга. Машинисты неумолимы. Процент самоубийств в туннеле значительно выше, чем на земле. Но браки, заключенные в вагоне-церкви, намного устойчивей, чем где бы то ни было. До краев доносится гул поездов, но краине никогда не пользуются ими.

В Край я приехал в поисках одиночества. Писание Хроники — не более чем отговорка. Дома мне мешали чужие слова. Мой мозг жил вне законов трения и притяжения. Едва ли не каждое слово, услышанное или увиденное, вызывало во мне обвалы, лавины. Я не успевал ухватиться за спасительную ветку или корень, нависающий над оврагом, меня швыряло из стороны в сторону, несло по течению, затягивало в водовороты. На службе все мои силы уходило на то, чтобы ничем не выдать ежеминутных катаклизмов, происходящих внутри. Всего невыносимей были дети, мои дети. В исследованиях по психологии довольно подробно анализируются истоки и характер детского словотворчества. Но мне не было дела до исследований. Я понимал, что с моими детьми, особенно с дочерью, происходит нечто подобное тому, что происходило со мной. Но как легко и естественно они это принимали! Я отчаянно барахтался в потоке, а они, повинувшись инстинкту, отдавались ему, и порой казалось, что именно они управляют потоком, их хрупким коленкам повинуется его бычья шея. Дома я почти не вынимал из ушей отвратительных розовых затычек, купленных в аптеке. И вот — отъезд. Гигант-

ский скачок. Перепад. Взятие звукового барьера. Измотав вконец, меня выбросило на берег, на сушу, на твердую почву. Теперь я отчетливо вижу, словно на карте звездного неба, холодные раскаленные слова, связанные во времени и пространстве. Каждую полночь я совершаю прогулку. Это старая привычка, которой уже можно было бы изменить: ведь в Краю улицы ночью не менее пустынно, чем днем. Перед сном я часто повторяю про себя слова одного забытого всеми поэта: "Моя родина — одиночество. Я эмигрант." Как бы он завидовал мне!

На днях случилось нечто дикое. Я возвращался вечером домой. Внезапно из перелеска, справа от дороги, появились два краянина с охотничьими ружьями, ягдташами, в высоких сапогах. Рядом бежали борзые. Я не успел всего разглядеть, ибо тотчас пустился наутек. Поднялась пальба. Сперва я спрятался за какой-то скирдой, потом метнулся к проволочному ограждению, перепрыгнул его и упал, распластавшись всем телом. Собаки пронзительно визжали. Меня подняли пинком сапога в бок. Связали руки, долго куда-то вели. В пещере, в полной темноте, меня раздели догола и выбросили вон.

"В сумеречный предрассветный час его голое исцарапанное тело продиралось сквозь чашу, его распухший язык изрыгал проклятия".

По утрам краянки выбивают перины и пуховики. В разреженном воздухе каждый удар звучит хлестко и отчетливо. Перышки и пушинки, подрагивая в такт ударам, медленно поднимаются ввысь. Запах спермы щекочет нос. Рас-с! Рас-с! Рас-с! Их лица, как бы продолжающие нос, синеют от испуга. Сухие щелчки

все учащаются и наконец перерастают в рокотание каменных обвалов, грохот снежных лавин, стон разбуженных ледников. Идет страстная работа по очищению и искуплению. Всякий раз я едва сдерживаю себя, чтобы не броситься на одну из краянок, в изнеможении упавшую задом вверх на перину.

Свой шанс я упустил. Это случилось почти тотчас после моего приезда в Край. Утром на пустынной тропинке я встретил краянку. Кажется, мы часто встречались с ней прежде. Но на этот раз она остановилась. Я опешил. Ее синеватая шея, сливающаяся с подбородком, взбухла. То ли слово, то ли звук шевелился в ее губах. Скосив глаза, она вытянула руку и разжала кулак. На ладони чернела пригоршня сморщенных смерзшихся оливок. Я то ли ничего не понял, то ли притворился, что не понял и, пробурчав нечто вроде "извините", бочком прошел мимо. С тех пор я не видел ее.

Зеркал в Краю нет. Раз в год, в марте, выпадает такой густой отвесный дождь, что в нем можно увидеть свое отражение. Несколько лет я пренебрегал этим дождем, отсиживался дома. Но потом даже стал ожидать его. Кажется, я похорошел. Кожа разгладилась, губы порозовели, залысины больше не рвутся назад. Но все же лицо свое я узнаю всегда: лоб, такой морщинистый, словно на нем отпечатались ступни, припухшие веки, рыхлые щеки, подбородок с ямочкой. Лишь тот, кто любит это лицо, отважится его поцеловать. Как же безумно ты любила меня! Иначе не объяснишь этих бесчисленных влажных "здравствуй", "пока", "доброе утро". Из-за того, что дождь движется, я все время боюсь, что отражение внезапно схлынет. Я жадно смотрю, не отрываю глаз, и пока одно мое лицо, отраженное дождем, страстно всматривается, другое скользит вниз и,

смешавшись с глиной, муравьями и отражениями тысяч крайних лиц, падает, клокочет и рассыпается на мириады брызг.

Когда приходит ночь, я выхожу на прогулку. Волосы и брови сразу набухают росой. От звезд першит в горле. Я слушаю переключку ключей и мог бы уже с закрытыми глазами отличить ключ Молочной Расселины от ключа Лысого Пригорка или ключа Щербатой Зазубрины.

На всякий случай у меня всегда есть ответы на неожиданные вопросы. К примеру, если ко мне вдруг подходит четверка — а она всегда делает это вдруг — и на своем хорошо выученном языке спрашивает: "Что это вы здесь, — и глагол, ну, скажем, — ходите?" — я быстро ставлю ее в тупик, так как лингвистические тонкости ей не под силу: "Не хожу, а прохаживаюсь". А если: "Что это вы здесь стоите?" — то: "Не стою, а только приостановился". Пока она ломает голову над значением префикса и суффикса, я гордо, как ни в чем не бывало, удаляюсь. Конечно, нельзя исключить, что вопроса может вообще не последовать, и четверка предпочтет прямое действие. Не знаю даже, что тогда предприму. Но каждую ночь страсть снова услышать переключку ключей побеждает страх.

Пьют они сырную настойку. Лично мне она не по душе, не по телу. Утром встаешь с таким ощущением, словно всю свою жизнь ел только сыр. Даже моча пахнет им, а кал становится почти светлым. Других напитков просто нет. Но, кажется, я нашел выход. На пятачке, поблизости от Кипящего Гейзера, растет дикий виноград. Никому до него нет дела, так что несколько раз в году я собираю по пять-шесть больших корзин винограда. Жалкие гроздья с виду напоминают плоские лос-



кутки каракуля; сами ягоды мелкие да к тому же с крупными косточками, но других нет. Дома я давлю виноград в деревянном чане испытанным древним способом. Всю комнату наполняет аромат раздавленных ягод и подолгу не выветривается. В эти дни я живу в каком-то ускользящем мире и то и дело во сне стараюсь притронуться к своим липким голеним. Даже косточек не выбрасываю до тех пор, пока они не сгниют. Когда молодое вино отстаивается в больших бутылках, я чувствую, как во мне самом что-то бурлит и бродит. Стараюсь ступать осторожно-осторожно, чтобы не перебиться, не дай Бог, не дать трещину. Когда вино готово, я застилаю белую тугую скатерть, ставлю на стол хрустальный бокал и медленно наполняю его. Если б не этот белесый ландшафт за окном, не эти синеватые лица, не напряженное молчание, слегка отдающее сырм, то мое вино, быть может, не казалось бы таким дразняще терпким, вызывающе красным, умопомрачающе ярким.

У меня — кожаный, у тебя — бархатная. Лучше всего это помнят руки. Твои тоже? Мне больно вспоминать, но я не могу удержать себя. В часе ходьбы от моего дома есть поляна, по которой разбросаны валуны. Каждый валун покрыт пронзительно зеленым, как глаза, мохом. Сюда прихожу я, когда память о тебе становится невыносимой. Крепко зажмурившись, я глажу мох. Мои пальцы не спешат. Черные круги спят глаза. Вся острота зрения сосредоточивается в руках. Ползком я передвигаюсь от валуна к валуну и всюду нахожу тебя. Да — это ты. У тебя — бархатная...

Всё. Всё. Всё. Для меня не существует больше "где". С ним покончено раз и навсегда. Горы, я презираю вас. Море, грош тебе цена. Равнины, из сердца вон. Больше

меня не будет мучить мысль, куда уехать, где жить. Всегда я искал место. Я хотел не так уж много: найти ту идеальную пропорцию сини, влаги, любви, света, вина и чтобы эти составные можно было всякую минуту осязать, но невозможно отделить друг от друга. Я бы пил вино — но это было бы любовью, я бы смотрел в небо, но мне бы казалось, что по моему телу струится вино, я бы пил вино, но видел, как солнце просвечивает мою ветвистую ладонь. Теперь мне остается лишь "когда". Я сижу, прижавшись спиной к горячим кирпичам. На столе — исписанные листы Хроники. Я загадываю: проснуться в минуту, когда все, абсолютно все спят. Нет. Жить только в одну пору года. Тогда в какую? Конечно же, когда виноделы разувает ботинки. Я перебираю в памяти мгновения, месяцы, времена и нахожу, нахожу, когда приютиться, когда найти пристанище.

"...На исходе первой декады материк покрывался изморозью страха. Люди собирались у костров, лишь бы быть вместе. Говорили шепотом. Кричали только сумасшедшие и дети. Сумасшедших тотчас увозили в фургонах в лечебницы. Детям пытались втолковать необходимость соблюдать тишину, но горячий шепот родителей только возбуждал их. Самых неугомонных отправляли в интернаты. Там за звуконепроходимыми стенами они исходили криком. В сумеречный, предрассветный час звуконепроходимые интернатские стены раскалялись от крика, но не пропускали ни звука. Постепенно со взрослыми остались только самые мудрые дети. Они на равных перешептывались с родителями и так чувствительно реагировали на волны страха, что он казался еще материальней. Призрачные троллейбусы и такси беззвучно и медленно, преодолевая сопротивление густого воздуха, скользили по улицам городов. Их словно несло ветром, космическим ветром.

У пассажиров возникало иллюзорное чувство защищенности, будто они только зрители, наблюдатели. Они не хотели выходить наружу, и некоторые выбирали голодную смерть на колесах. Такси, в которых сидели мертвецы, разъезжали с желтыми огоньками. С каждым днем желтый цвет все нахальней вытеснял другие цвета. К шепоту подмешивался шелест листьев, дождя, отклеившихся афиш, флагов. Поэты сдавленно декламировали у костров свои стихи, перегруженные шипящими, но бормотание и шушуканье безобразно диссонировали с полнотой чувств и мыслей. Чем вдохновенней становились поэты, тем больше их ненавидели. Непримируемой всех были дети: они оплевывали поэтов с ног до головы, и если к костру приближался человек, покрытый мокротой, все тотчас плотно окружали огонь, и пришельцу ничего не оставалось, кроме как уйти прочь, изрыгая рокочущие проклятия. В конце концов война детей и поэтов закончилась полным поражением последних. Ко второй декаде шепот уже почти вышел из употребления. Всюду господствовал язык глухонемых. Поначалу уроки языка брали у глухонемых частным образом. Глухонемые были нарасхват. Им все завидовали, ими восхищались. Дети выучивали язык жестов в считанные дни. Поговаривали об образовании Совета, в который бы вошли только глухонемые и дети. Но понемногу все утряслось. Многие научились жестикулировать без всякого акцента. Язык глухонемых оказался на редкость выразительным, богатым и ясным. Он вдохнул жизнь в театр, и театральные залы ломились от зрителей. Трагедии разыгрывались в полной тишине, и лишь по сухим взрывам аплодисментов можно было судить о накале страстей. Язык глухонемых стал латынью эпохи декад. Об образованности человека судили по его способности жестикулировать. Красивые пальцы стали залогом успеха среди

мужчин, а жилистые кисти — залогом успеха среди женщин. Люди руками разгоняли страх, и это им отчасти удавалось..."

Ломти синевы с прослойками тумана. Чешуйчатое озеро. Каменные колокольни. Куда ни бросишь взгляд — не ошибешься. Пыхтя, обливаясь потом, он взбирается все выше и выше, стараясь достичь пика восторга, вершины счастья.

### ИЗ ДНЕВНИКА

Всех людей, которые носят траурные повязки, я бы убивал. Даже если забыть, что они лишили меня беззаботного, безоглядного, без единой морщинки детства, прощения им нету. Черной лентой окольцована моя детско-отроческая радость. Счастье приходило, когда ему потакало пространство. Все в тебе хочет петь, хочет приплясывать, но лишь когда выходишь наружу, из подъезда в переулок, с узкой улицы на проспект, с проспекта на площадь, с площади на вокзал, все в тебе и впрямь поет или пляшет. Человек с траурной повязкой, мелькнувший в переулке или на площади, означал "замри". Праздник кончался. "Горячо" переходило в "холодно", и эта игра обретала реальную анатомическую температуру. Хорошо, что этот человек никогда не был твоим подлинным соотечественником. Что-то всегда его выдавало: венозный нос, покрой плаща, акцент во взгляде. Сам факт креповой околесицы на рукаве ронил с тем или тою, кто не расслышал, не внял плачам и причитаниям. Человек самолично, графически, зримо приобщался, образно говоря, к иной жизни. Всем своим видом утонченного выскочки он показывал, что до срока посвящен в тайну. Его рыхлое лицо впитало эротические страдания усопшего. Целой школе не хватило

бы промакашек, чтобы промакнуть его брызжащее соком горе. Щеки пухлы, живот торчком. Хлеб и мясо поминок никому не идут впрок. Бесстыжее изящество, элегантность бросаю встречных в бледность. Черное разлучальное колечко, черные круги под глазами, соскользнувшие на руку. Как легко угадывается безделка мастера метонимии: вместо того, чтобы стянуть кольцом все туловище, он набросил повязку на плечо. В ней нет — как и подобает обстоятельствам — даже намек на усилие, на мускул. Она держится непонятно на чем: на памяти или на слезе. Глаза сужаются под стать, манжеты подыгрывают узине, вертикаль фигуры лишь подчеркивает плоскую проекцию повязки. Приближающиеся и удаляющиеся тоже соотносятся с нею. Все связано черным шнурком, и кто потянул его, пересек границу.

Тех, кто сочувствует людям с траурной повязкой, умерщвлять следует безотлагательно. Они не только посмели заметить, но и присоединились к чужому торжеству. Украдкой они подливают себе соленое вино из ворованной бочки. На дне их сочувственных глаз чернеет зависть. У них ведь тоже есть бабушка, дедушка, мать, отец. Кто же не мечтает о смерти ближнего? Человека, переночевавшего в одном помещении с покойником, невозможно не уважать. Эта ночь позволяет ему снова стать язычником. Отдаться такому или такой. — почет. Однажды и мне выпало счастье завешивать зеркала. О нет, я лишь помогал. Маленькое настольное зеркальце для бритья я любовно завесил своим носовым платком. Свет померк, и мы тотчас же бросились в объятия, вгрызаясь друг в друга зубами, когтями, кадыками. Пока дом обходили стороной, чтобы и звука не нарушить мемориальной тишины, за его темными окнами клеток исклевывал рычание, а рычание перегрызало глотку клетоту.

Но тех, кто не замечает траурных повязок и потому не испытывает сочувствия, должно выжигать каленым железом. Раз ничто не полоснуло им по глазам, значит они слепы. Раз их барабанную перепонку не пронзил вопль, значит они глухи. Они не любят своих ближних, ибо не желают им смерти. С такими меня ничто не связывает: ни детские воспоминания, ни юношеская страсть.

Больше всего людей с траурными повязками в Греции и в Западной Украине. Начинать следует оттуда.

— Папа, это смешно?

Вопрос постыдный. "Смешно" не бывает само по себе. Это всегда встречное движение, стык, перехлест. Судить о том, что смешно, можешь только ты сам. Без тебя оно не может стать смешным. Самое чистое выражение смешного — в музыке. Смеясь музыке, невольно оглядываешься. Быть пойманным на таком смехе, все равно, что быть уличенным в безумии. Но, кажется, пора отвечать. Рука уже в полете. Сейчас раздастся звонкая, как смех, пощечина.

Сухость и влажность лучше всего получались у итальянских и голландских мастеров. У итальянцев — сухость, но не та, когда облизываешь губы или ломаешь гребешок о волосы, слепленные песком. Это сухость любимой ладони, которой нечего бояться. Когда к ней ни прикоснешься, она всегда приветлива, гостеприимна. Она ничего не стесняется. Она в теплой тени любви. Так итальянская сухость всегда в тени моря. Назовем ее влажной сухостью. У голландцев — влажность. Сдавленные улицы, скользкие, как рыбы. Кривые рыбы, скользкие, как брусчатка. Пальцы кухарок еще не вытерты о тряпку. Губы девушек еще блестят от воспоминания о поцелуе. В отсыревших складках одежды

солнце ни днюет, ни ночует. Запекшаяся кровь на фазаньем крыле мягка и липка. Пятно с прозеленью (даже солнечное), тень со свинцовым отливом никогда не просыхают. Влажность зависит не от времени или погоды, а от колорита. Мечта о Голландии — это мечта о сырости. Если снова спросишь, за что люблю тебя, отвечу: "За ладонь и за губы".

Как только Бруно ушел, я бросился в ванную. Это можно выразить только слезами. При всем моем отворачивании к заговорщичеству, с Бруно я чувствую себя заговорщиком. На месте окружающих я бы просто уничтожил нас. В нашем обмене жестами, позами, улыбками заключена душераздирающая тайна. Я бы хотел, чтобы он был намного старше или младше меня. Тогда моя жизнь была бы намного длиннее. Но мы погодки. Мы знаем всех, абсолютно всех. Однажды мы просто взяли ручку и подсчитали. Оказалось, шестьдесят семь. Один из них — в Дрогобыче. Если учесть, что дрогобычан не так уж много, то Дрогобыч — столица мира. Жена колотила в дверь, но я не открыл. Правильно делает, что неистовствует. Как глупа была бы она, если бы не рыдала.

Медленно, чтобы чуть что — отпрыгнуть, отпрыгнуть, исчезнуть в ближайшем подъезде. Осторожно-осторожно, почти на цыпочках, чтобы не успела: пока дрожащей рукой расстегнет ридикюль, откинет вуаль — тебя и след простыл. Она может ждать за каждым углом. Она ждет. В ридикюле — пузырек с серной кислотой. Еще хорошо, что предупредили. Иначе — нет, даже подумать страшно.

В эту блеклую линиялую пору у меня начинается глазная цынга. Тоска по цвету так невыносима, что в

течение двух месяцев я живу с крепко сомкнутыми веками. Эти два месяца я словно провожу на Средиземноморье. Мой мир обит синими, оранжевыми, зелеными лоскутками. На зубах похрустывает цедра. Колени, бедра в ссадинах и царапинах. Я постоянно натыкаюсь на стулья, комод, ударяюсь об углы. В эту пору подруги жены и одноклассницы сына невозмутимы и великодушны. Страдальцу все позволено. Все его, грешного, прощают. Но самое лучшее средство от глазной цынги — коньяк. Его горячие лучи просвечивают и пронизывают все тело насквозь. Ликующий голос сына — "Папа, папа, снег!" — всегда застает меня врасплох. Прощай, Адриатика! Скоро, скоро мы встретимся, что бы никогда не расставаться впредь.

Из окна виден лишь кусок площади. После дождя она блестит. Сбоку, с невидимой части, доносятся детские голоса. Дети хохочут, грызут каштаны, насвистывают, прицокивают. Потом разом въезжают на коньках, чтобы тотчас разъехаться кто куда. У блеска минусовая температура. Звонкость спорит с тонкостью и на этот раз не терпит поражения. У каждого точильщика своя площадь. На перегонки с искрами дети несутся по кругу. Когда их не было видно, я различал снолохи итальянского. Но стоило им встать на коньки, как они сразу же перешли на датский и норвежский.

Больно, когда ощущение себя, собственный образ не совпадает с твоей же жизнью, когда между ними зазор. Значит, неправильный размер. Как с обувью, Либо жизнь жмет, либо она велика на тебя. Что делать? Вопрос нелепый. Ответа на него нет. Это уж ты сама реши. Попробуй разобраться, почему упорно носишь не свой размер. Твое восприятие мира не соответствует миру. Вон тот человек высокий, а этот маленький. Это



не моя точка зрения. Если их померить, то можно даже узнать, насколько один длиннее другого. У тебя как в старой живописи: перспективы не существует. Ты не видишь, что кто-то дальше, кто-то ближе.

Если постороннему или почти чуждому ты вдруг говоришь, что тебя тошнит от фиолетового цвета, он ставит диагноз и разговаривает с тобой еще вежливей. Ты и себя не видишь со стороны. Должно быть, это у тебя с детства. Так ты понимаешь женскую прелесть. Неведение и непосредственность. В жизни принцесса похожа на опереточную героиню. Свою детскость ты поощряешь и развиваешь. Конечно, это срабатывает, но лишь благодаря самой жизни. Когда мы к ней не приспособляемся, она приспособляется к нам. Принцип компенсации. Люди с нарушенной координацией движений редко с кем-либо сталкиваются. Это благодаря сноровке встречных. Я не уверен, что тебе следует что-то менять. Хотя, если больно, попробуй. Начни с поведения. Просто веди себя как принято, как пишут в книжках о хорошем поведении. Это удобно — и окружающим и тебе самой. Чувства обретут какую-то форму. С лицом еще не все потеряно. Но лет через пять будет поздно. Нет, на твоём лице не хаос, а слабость. Слишком уж потекаешь себе. Пожестче с собой. Настоящие принцессы выносливы. Нет, это не история болезни (или здоровья). Я мог ошибиться. Мы ведь почти не видимся. Нет, никому не скажу. Кроме тебя, все это едва ли кому интересно.

Маленькая страна, усыпанная апельсинами, как ребенок корью. В траве валяются апельсины-паданки. Ребятишки бросаются мандаринами, подростки — апельсинами. Роль апельсинов в истории этой страны, в ее искусстве и религии определяющая.

Одну комнату я полностью заставил кувшинами, бутылками, жбанами. Прежде она была нема. Теперь зазвучала. Когда кто-нибудь приходит в гости — а в гости никто никогда не приходит — я веду гостя в комнату с кувшинами и спрашиваю: "Слышите?" Только сумасшедший ответит "нет" или "что слышу?". У каждого сосуда свой голос. Молчит лишь один. Его хрупкое горло навсегда впечаталось в мои ладони. Но эта тягучая, персидская, тягучая песнь...

Где? Почему? Как решили: собравшись вместе или порознь? Думали о детях, внуках, правнуках? Отдавали себе отчет, насколько это важно? Пржили все четыре поры года и уже тогда решили? Или вовсе не решали, понадеявшись на своих идолищ? Что же они наделали? Куда глаза их глядели? Черт с ними самими, но дети, внуки, правнуки? Или блажь какая нашла? Или думали, что лишь тому будет хорошо, кому поначалу плохо? Почему этот каменистый тусклый берег? Эта безучастная хвоя? Это сирое небо? Разве не чуяли, что где-то дальше рыхлый пушистый воздух, сладкий колер, берег нараспашку? А может, и вправду не чуяли? Но если так, то ведь это еще хуже, еще невыносимей, да?

В комнату входит стюардесса. У нее движения и поступь хозяйки. Мы пристегиваем ремни. Мимически она объясняет, что следует делать в случае аварии. Ее пантомима возмутительна: весь трагизм сведен на нет формальностью и топорностью жестикуляции. Отстегнув ремни, мы возвращаемся к шахматам. Сын снова проигрывает. Присутствие стюардессы не отвлекает. Она позвякивает на кухне. Наконец, приносит обед. Я ворчу, что нет соли. К вечеру мы чувствуем себя утомленными: продолжительность путешествия все же дает себя знать. Пора спать. Я раздеваюсь и ложусь в кро-

вать. Близость звезд будоражит. Стюардесса ложится со мной. Когда она успела раздеться? Утром я вижу ее снова в форме. Сок. Тосты. Кофе или чай? Нас явно подталкивают к решительным действиям. Сын возвращается из школы. Улучив момент, рассказывает, что все все знают. Первые страницы утренних газет целиком о нас. Ночью в моих объятиях она шепчет: "Не поддавайся. Это провокация". Голова идет кругом. Кто же с кем и кто против кого? Я принимаю самое мужественное решение: ждать.

Как же он смел возложить на меня — почему на меня? — это бремя! Памятуя о давнишней записи отца, я вырядился в костюм, чтобы надеть траурную повязку. Лицо мое сдавлено мыслью о том, что теперь мой черед продолжать. Я далеко не молод. Рядом сквозь августовский зной движется беременная глыба жены. На щеке до сих пор еще звенит пощечина. Может, начать — но ведь это не начало, переход не должен быть заметен — с эпизода пощечины? В этом была бы не только логика, за которую он едва ли похвалил бы меня, но и звуковая переключка — за это похвалил бы. Что еще он мог мне оставить? Это и вправду единственный шанс. Завтра у меня встреча с Бруно. Отчего отец предпочел меня ему? Конечно, из-за возраста. Интересно, знает ли Бруно? Лицо мое чернее повязки. Прохожие испуганно уступают мне дорогу. Им и в голову не приходит, что я убиваюсь не по отцу, а по себе. В моем возрасте уже непозволительно делать это дурно. Мой вкус не выдержит корявости собственной руки. Но ведь не напрасно он был моим отцом!?

Уже не скажешь скоро осень вот ты идешь по парку как по сердцевине витражного стекла там где оборвется ограда нищета красок лютеранство света здесь листья

маленькие как дети дети маленькие как листья трогать каштан леденеть от головокружительного ритма его впадин и вздутий и тут же вспомнить Лику чередование холодных и горячих мест на ее теле и тут же забыть вдыхать настоенный на вине и лепестках ребячьих голосов воздух услышать лепет прокитаенных строк пожалуйста не улетай о госпожа моя перенестись на них в мир по имени о бабочка о мусульманка Бог с ним с тем фарсом с чего все началось настроить ограду сквозную длинную красивую как цитата но все же препону дотронуться до графического образа ограды не отрывая взгляда от порхающего поодаль и в сторону образа бабочки плавно глотать вино настоенное на осени подзревать себя в любви листья и дети всплески голосов осень и вино понять еще вчера не жил кощунствовал

## С БУКЕТОМ РОЗ

Они сидят лицом к лицу на скамьях пригородного октябрьского поезда. В такую пору уже никто не ездит. Мороз может застать врасплох, и тогда в одно мгновение выцветут глаза, поржавеют губы. Но ради воздуха с синяками под глазами можно рискнуть. По тесному проходу вагона наперегонки носятся сквозняк и гудки. Те, кто покидали поезд последними в конце сезона, нарочно оставили все окна открытыми. Так ведут себя оккупанты, покидающие чужой город. Фантики, ключья газет, листья, презервативы, огрызки елозят, шуршат, и когда ветер не жалеет на них сил, тащат весь поезд. Потому он движется рывками.

Они не знакомы. Но только ли страсть к синякам под глазами связывает их? Она откинулась назад. Он подался вперед. Она вогнута, он выгнут. Кончиком мизинца она тербит нижнюю губу. Его бедра расслабле-

ны и чутко, как радар, реагируют на подрагивание мизинца. Если мысленно соединить линиями их локти, плечи, выступы и углубления, то всему найдется свое соответствие, их резьба идеально совпадает. А если по законам гомотетии все эти воображаемые линии осторожно отделить от тел и подвесить — без всяких ниточек и проволочек — в воздухе, то получится совершенная конструкция, не схема, а сама плоть любви.

Этот поезд можно остановить где угодно. Ну хоть в Андалусии. Скажем, в Кордове. Город, который он никогда не видел, но всегда скучал по нему. Субботний полдень. Ярмарка улыбок, костюмов, детей. Какао — детям, кофе с коньяком — взрослым. Он с детьми. Он сегодня перебежчик. Шерсть, плюш, замша, вельвет. Велюровые шляпы, перхоть на бостоновых воротниках. Очереди в парикмахерских и в кино. Выбритые до синевы щеки. Брови филигранной работы. Голые ожерелья. Он улыбается, чтобы не расплакаться. Он идет по линии разрыва, и то, что остается за спиной, тотчас зарубцовывается, затягивается. Даже шва не видно, словно не было всех этих бесконечных лет в утлой протестантской подмышке, которая и вспотеть-то как следует не может. Шоколад "Люкс". Люксовские квартиры с матовыми дверями. Благородно неброские люксовские дома. Бежевая обувь, достойная витрины кондитерской. Но самое главное — взрослые. Они нарядны. Они богаты и элегантны и гордятся этим. У домработниц тоже выходной. Они семят на своих коротких ножках, крепкие, цветастые, многодетные, многогрудые. Вечером взрослые соберутся, чтобы бесконечно танцевать только один танец: танго. След помады на бокале с шампанским, рука в перстнях на дубовом подлокотнике кресла. Коньяк и мебель делают краснодеревщики. Корень элегантности — богатство. Трюфельное полено

принес из лесу лесоруб с пальцами музыканта. Оно живет, как мотылек, только один миг. А потом смешивается с приторным, преступным запахом духов "Лунный свет". Этот запах не выходит из моды уже тысячу и одну ночь. Нет ничего вкусней какао. Улица так узка, что когда проезжает ландо, нужно прижаться спиной к стене. Он прижимается к надежным дубовым воротам с остроконечными медными бляхами. Ворота подаются, и он оказывается лицом к лицу с синьоритой. Он делает шаг вперед и. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Октябрь, а солнце, что твой август. Какой же праздник без крови? Когда здесь закалывали быков, он лихорадочно, пачку за пачкой, жевал гематоген. Бармена зовут Маноло. За его спиной три бочки с вином. Монтия секо. Монтия медио. Монтия дульсе. Терпкое. Сладкое. Пресладкое. Но между бочками припрятана бутылка орухо, виноградногорилки. Здесь такую не делают. Маноло — северянин. Резиновая струйка вина тянется к стакану. Стакан ходит на ней вверх-вниз. Маноло совершил падение: вместо того, чтобы раскручивать щекотное галисийское ривейро, он фокусничает с жалкой монтией и покрикивает на неопытного подручного-заику. Тот нарезает тонкие ломтики копченого мяса и передергивается даже когда молчит. Маноло, пор фавор. Теперь они друзья не разлей орухо. Они здесь оба чужеземцы. Оба — свои. Они отсюда, где в цене солнечные деньки и где дождь, как песок, поскрипывает на зубах. Маноло из Галисии. Он — из Галиции. Фантики, клочья газет, листья, презервативы, огрызки приходят в движение, поезд трогается. Что-то меняется в расположении их тел. Поджарый воздух ее фиордов уже опасен для его оттаявшей тепловой груди.

Со своими волосами она обращается, как с виолончелью. Мелодия получается густой, сочной. Ее рука с гребнем, занесенная над головой, приближается к звуку. С решетчатого балкона величиной с наперсток свисает, но не падает дождь цветов. Цветов, заколотых в ее волосы. Она резко поворачивается. Это Бланка, жена Маноло. Сладкое должно быть сладким. Символ красоты — красота. Диалектика — оружие уродов. Сегодня он в башмаках с золотыми пряжками, на каблуках-кастаньетах.

Нет, он здесь не чужак. На нем не висит гроздь фотоаппаратов. Он не в спортивных брюках. Его сорочки не наводят мысли о гольфе или лапте. Он артистичен и гибок. Его улыбка размыта, пробуравлена алкоголем и никотином. Движения замедлены, лукавы. Цвета его одежды на грани дозволенного, но не переступают ее. Походка — танец. Невинный вопрос — объяснение в любви. Хотя здесь каждый по солнцу может легко определить время, его галантно спрашивают "который час", чтобы удостовериться, убедиться. Он обаятельно разводит руками, как ребенок, подражающий взрослым. В его понятливой непонятливости сквозит родное, любимое. Отлипнуть от него невозможно. Так кто же вы, откуда? О! А! Вы с нами. Да, я ваш. Только, пор фавор, не надо про. Еще не родившись, уже наши. Стаканчик ментийи? Народ, скрюченный фламенко, как полиомиелитом. Слава Богу, не жадностью, не корыстью. Народ танцующих свастик. Летящие шали, сорванные с ночных бабочек. Джентльмены предпочитают шнурки, кабальеро — пряжки. Пока каблук соперничает с кнутом, пряжка сияет, ликует. Даже на школьных утренниках пляшут свою кордовеньяску. Пружина в крови. Жизнь лопается. пружина остается.

В свой город он приехал с родителями, то ли победителем, то ли захватчиком. Крохой. И сразу влюбился в девочек-чернавок. Их имена, оскорбительные для русского уха, их бархатистые усыки будоражили. Он знал свое место пришлого: не почетное и не оскорбительное, а просто пустое. Он таял, он был топленным маслом. Он был готов размазать себя на початке кукурузы, на куске мацы, но в его масле никто не нуждался. Понемногу его стали брать на странные вечеринки полудремы-полулустрасти. Он не понимал этого "полу" и глупо, поюношески форсировал. Рухля, я умоляю, я умираю, я женюсь. Но замуж они не торопились. Рухля пожимала топлеными плечами, при этом ее до срока вышедшая из берегов шея оставалась неподвижной. Она хотела иероглифов любви, а не самой любви. Чтобы понять это, надо было спуститься в андалусский винный погреб. Кабальеро склонился к уху синьориты. Его редкие, как конница, волосы, идут в атаку. Солдаты нахлобучивают береты. Когда солдаты уходят, праздник кончается. Те, кто танцует фламенко, прикасаются друг к другу лишь затем, чтобы отдернуть руку. За всю жизнь он не кончил ни одного романа. Как только дыхание героев смешивалось, он в ужасе захлопывал книгу.

По цвету стен можно определить, что растет в саду или в огороде. Если хата белая, значит яблоки, если иссиня-белая — баклажаны, если к белизне подмешан желток — абрикосы. Плодов из окна вагона не различить. Он всматривается в медленно летящие хлопья хат.

Пора появиться розе. Ей здесь место. Пусть одним росчерком узаконит луну, приколотую к черному бархату, мелькнет, оставив на память запах кровавого



бифштекса. Ее можно поместить вот здесь, между Цилей и Хаюсей. Как же он ее забыл? Роза Шварц. Упреки в повторах и мелкотемье. Разве Рухлина грудь, стертая в порошок, мелкотемье? Если бы у розы был голос, она бы не говорила, а пела. Сопрано. Или шипела. Почему он замахивается на протестанского мальчика? Почему покушается на право спастись от надвигающегося ужаса? Мало этому несчастному сирости и убогости родителей, сырых каменных мешков, где пытка называлась "хор мальчиков"? Ну и что с того, что этому мальчику приходилось вместе с лошадьми хрумкать сечкой. Даже взаимный онанизм был под запретом. Надо было добывать свой радиий в угрюмом одиночестве. Зато греть стульчак старшеклассникам никто не запрещал. Нет, с ним не тютюшкались, не зацеловывали. Дело же не в том, что лучше, а что хуже, что красивей, а что уродливей, а в том — что свое. И возвращаешься к нему, потому что боишься движения, которому придет конец. Ну хорошо, задело на заре туманной, отпечаталось, вываяло. Но это только четверть, осьмушка. Когда отступаешь назад, не рискуешь сорваться в пропасть, а впереди — пропасть. Он может сказать вслух, не крикнуть, а медленно, пересохшим ртом, членораздельно, деревянным языком, внятно, запекшимися губами, по слогам сказать: да, я возвращаюсь не из-за того, что там было уютно, мягко, красиво, а потому что боюсь... ну, чего же?... как там ее зовут?... ну, этой...

Уличные художники ушли с Пасео дель Гран Капитан, оставив на тротуаре Марию Магдалину в чепчике. Мальчик склоняется над ней. Обходит, смотрит из-за затылка, чтобы высмотреть, в какие же холмы убегает шея. Но они едва угадываются в складках одежды. Отчаявшись, прикасается ладонью к тому месту, где дол-

жна быть грудь. Подносит ладонь к носу и жадно нюхает. Снять комнату на этом бульваре, на первом этаже. Лежать годы напролет, цедить херес и, наконец, дожждаться, когда сквозь окно донесутся русские слова. Тогда громко выкрикнуть: "Хоть бы минуту покоя дали. Потише, пожалуйста!" Услышав в ответ громовую тишину, давить в подушку хохот. Упиваться счастьем.

Здесь каждый приглашен на фиесту. И если в нем самом есть хоть чуточку фиесты, праздник получится. У окна дожждаться не русских, а украинских слов. Тогда жить придется несколько столетий. Рука у него тоже выкрутится, как у местных. Улицы здесь кривые. Местным так часто приходится показывать, как пройти к мечети, собору или синагоге, что они сразу рождаются с выкрученной рукой. Перерисовав извилистую линию руки, можно смело отправляться в путь. Руку просто прикладываешь к бумаге и обводишь карандашом. Так в XIV веке Р.Хр. была составлена карта города: все местные собрались и приложились навакшенной рукой к огромному листу бумаги. С тех пор ежегодно в один и тот же день муниципалитет устраивает "фиесту карты города". Приезжие, покидая город, непременно покупают сувенир: кривую руку из фарфора.

Города сюжетны. Тому свидетельством площади. Площади — это выдох, развязка, счастливая любовь. Если город организован вокруг площади, то жизнь в нем нормальна. Случайность площадей говорит о безумии. В таком городе сходишь с ума, ибо не находишь площадь там, где она должна быть. В прошлой, нормальной жизни — площадь на месте. Куда бы ни приехал, ищешь площадь, и если находишь, то веришь, что

ты — пусть единственный, пусть последний — но нормальный человек на земле.

Он встретил ее, поднимаясь по крутой улице. Солнце истекало селедочным жиром. Она волочила двух детей, три подбородка и четыре груди: весь свой скарб. "Здравствуй, Раечка!" — имена тогда окончательно обкатались. Она остановилась. Выдохнула воздух из топки. И сказала: "А ведь ты — дурак". Он не пришел в ярость. Он был в ярости еще с утра: каштан и сердце вываливались из строки, в которую он их вставил. Выстрелил по Рухле из пушек:

— Знаешь, Раечка, поэтам и девушкам все позволено. Это непоэтам надо стараться — быть красивыми и умными. Девушка, что ни сделает, остается чиста.

— Все равно дурак. Розу прошляпил. Она по тебе с ума сходила.

Он остолбенел. Рухля была права.

На самой границе с Францией, на маленькой станции, в газетном киоске, он увидел фотографию красавца-Маноло в наручниках. "Подручного — на копченое мясо. Бланка рыдает над телом любовника. Вчера ночью в Кордове..."

Путешествие теперь кажется тихим, беззвучным. На вокзале тысячи встречающих, включенных на полную громкость. Они делают вид, что встречать не стыдно, что их поступок, хоть и не героичен, но вполне понятен и порядочен. Кто-то приезжает, кто-то встречается. Не всем же быть смельчаками. Они правы. Кто-то же должен разрыдаться, увидев его в тамбуре, с букетом роз.

*Сергей Вольф*

## СТИХИ

\* \* \*

Бог, пролетая надо мной,  
Был с толку сбит моим занятем,  
А именно: я с женским платьем,  
Обнявшись, плакал под луной.

Произносил ему слова,  
Напоминающие вздохи,  
Осколки блюзовой эпохи,  
Спиричуэлс "Все трын-трава",

И платье отвечало мне  
Покачиванием и смехом,  
И я, пришпоренный успехом,  
Секунду побыл на коне.

Ах, как же исхудала ты,  
Как кисть моя легко сжимает  
То, что рука не обнимает  
Две сотни лет за полверсты.

Шепчу в лесу и за столом,  
В воде меж бревен и в болоте,

И все не нахожу в полете  
Тебя — с ободранным крылом.

...Но вдруг пищу не от того,  
Что не выдерживаю боли.  
Но н а в о ж у ....  
Не станет боле  
Тебя и дома твоего.

\*\*\*

*В. П.*

Да, веероподобный хвост  
Способен вызвать мысль о море,  
Хотя строка в чужом повторе  
Меняет часто "вест" на "ост",  
Как заменяет "вес" — на "рост".

Не помню моря. Плыл туман,  
Она, возможно, тихо пела,  
Или слегка сместилось тело —  
Вполне приемлемый обман,  
Замена притчи на роман.

Я не уверен, что в саду  
Гуляли именно павлины,  
Скорей — фазаны. Но маслины  
Срывали птицы на лету,  
Сменяя криком немоту.

Я допускаю, что рука  
Ее коснулась затылка,  
Годится ли здесь краска "пылко",

Коль это слов чужих строка  
Меняет "сильно" на "слегка"?

Пора забыть натужный сон...  
Цитата: "Нежность не вернется.  
Нагая камнем обернется",—  
То, в чем отсутствует резон,  
"Пассат" сменивший на "муссон".

Возможно, с веером у глаз  
Она позирует исправно,  
И море отражает плавно  
Модели высочайший класс,  
Порыв сменившей на показ.

И быть должно отсечено  
То, что теперь глядится спорным,  
Был воздух не морским, но горным,  
Сыр, козья шерсть, веретено,  
Замена: "уксус" — на "вино".

\* \* \*

Ночь  
Одинаково важна  
Для мухи и меня,  
Она  
Накроет нас одной рукой,  
Чтоб друг от друга  
Дать покой,  
И каждый в зыбком уголке  
Заснет, висок прижав к руке.

Ночь  
Одинаково слышна  
Как дятлу, так и мне,  
Она  
Обнимет нас одной рукой,  
Ему и мне даря покой,  
И я услышу сон его,  
Он — грохот сердца моего.

Ночь  
Одинаково смешна  
Тебе и мне,  
Моя жена.  
Она раздвинет нас рукой,  
Чтоб дать покой  
И взять покой,  
И ты услышишь в этот миг  
И дятла крик,  
И мухи крик.

\* \* \*

*В. Т.*

Вот тупая река  
С допотопным названьем Оять,  
Непонятым пока,  
Значит, следует здесь постоять,  
У обрыва, где нудно,  
Два столетья гниют два бревна  
И болтается утка  
На струе,  
На всю реку одна.  
Под прогнившим мостом

Завалился измотанный лось,  
Он продрог под дождем,  
Он промок абсолютно насквозь,  
Хнычет он и дрожит,  
Опасаясь клыков кабана,  
И волчица лежит,  
Как и он на всю чашу одна.  
На кабаньей тропе  
Отощавшая бабочка спит,  
По истлевшей траве  
Слышно, как она нервно храпит,  
И пугливый кабан —  
Пустотелых лесов господин —  
Огибает капкан,  
Как и он на округу один.  
И медянке невмочь  
Дохромать до набухшей воды,  
Надвигается ночь,  
И туман опадает с гряды,  
И плетется кулик,  
Под туманом головкой вертя,  
И слабеющий крик  
Затухает,  
На нет исходя.

## ВАЛДАЙСКИЙ ГОРОДОК

В том розовом, в том ватном городке,  
Где в проволочных знаках переулки,  
Лечу домой с топориком в руке,  
В другой сжимая две горячих булки.

В моем гнезде две дюжины яиц,  
Четыре по шесть — на два года хватит,



Ну а не хватит, позову двух птиц,  
И каждая мне по яйцу прикатит.

В пустой кладовке — туесок без дна,  
Стакан сморчков, две луковицы, петрушка,  
Сушеный еж, наперстка два вина,  
И молока малюсенькая кружка.

Когда ты прилетаешь поутру,  
Мы завтракаем косточками зайца,  
Звенит стекло тихонько на ветру,  
Горят в ковше надтреснутые яйца.

К щеке щекою сидя у окна,  
Сквозь пыль глядим на облачные диски.  
Весь город дремлет, высока луна,  
Качается на ветках знак мальтийский,

Проскакивают глаз прожектора...  
Мы спим обнявшись,  
Конь рысит по лугу,

Кузнечик хрупкий с самого утра  
Как заведенный бегаёт по кругу.

Я просыпаюсь и, топорик взяв,  
Выстукиваю капельку из крана,  
И, на мгновенье тускло просияв,  
Мелькнет на пальце маленькая рана.

\* \* \*

Тропа и холм — божественный подарок,  
Мышь — не помеха, а орел в отлете,

Два вздоха феи в виде двух помарок,  
Возможно, побывавшей в переплете.  
Тропа в вершине — меркой в километры,  
Подъем пологий и едва заметен,  
По небу бродят, скрещиваясь, ветры,  
И облик дня безлик и неконкретен.  
Все ближе пуп холма и ниже фея,  
Сильнее ветер и тропа покруче,  
И наподобье пущенного змея  
Явились в небе маленькие тучи.  
Возможно к ночи доберусь до верха,  
А будет ли луна и звезды — спорно,  
Во тьме, быть может, дождь зарядит мерзко,  
Зато мертво, пустынно и просторно.  
О, боже, фея стонет, плачет выше,  
Укрывшись под скореженным листочком,  
Догнать ее, создать подобье крыши,  
Быть расторопным, сдержанным и точным.  
Призывный вопль мой с вершины рыщет,  
Сплошная тьма — и вот он, дождь закапал,  
А мышь в кусточке ошалело свищет,  
И фея свой наряд роняет на пол.

\* \* \*

Кто там ходит так тихо в траве  
с диадемой на голове?  
Два зелененьких глаза дрожат,  
и мучительно хвостик прижат.  
Кто  
замшелой и хлипкой тропой  
направляется на водопой,  
оступаясь и падая в грязь,  
пряча боль и смущенно смеясь?

Кто,  
шарахнувшись от воробья,  
остеклевший, застыл у ручья?  
И кристаллик воды для глотка  
неподвижная ищет рука.  
Кто пушинкой, наощупь, во тьму  
на волне, неподвластной уму,  
за пределы черемух и лип  
улетает, похожий на всхлип,  
увядает, как сон наяву,  
опадает в глухую траву,  
не перечит, не плачет, не ждет:  
ах, когда избавленье придет?  
Не жалеет,  
не ищет в ночи  
чужеродного света лучи  
и не сетует...  
Вспышка во мгле —  
равнозначна ему на земле.

\* \* \*

*В. И.*

Все девочки и мальчики — в клубок,  
Граница сна и скрюченного неба,  
То голубок, то просто — полубог,  
То всхлип воды, то резкий запах хлеба.  
Не просыпаться!  
Не надев калош,  
Не красться босиком по спуску Мойки,  
Не шевелить позеленевший грош —  
Уродливое детище попойки,  
Не просыпаться и не вспоминать,

Как солнце посеревшее сияло,  
Пропить пейзаж, иль попросту прогнать,  
Закутаться в тугое одеяло.  
...Там, наверху, на гребешке холма  
Какой-то гусь копается в объедках  
С лицом хорька,  
А на холме — зима,  
И снежный шум подрагивает в ветках,  
И гусь тебя узрел — счастливый вой —  
И по снегу катится за тобою,  
Мотая опаленной головой,  
И два гнилых клыка таща с собою.  
Визглива бойня... Шарфом замотай  
Худую шею, юрки по откосу,  
И лучик солнца грязно-золотой  
Бесстыдно золотит на древке косу,  
А ты, малыш, под горочку катись  
В прозрачный сад, в песчаную траншею.  
Не топот — шепот заполняет высь,  
Катись, малыш, закутав шарфом шею.  
Забейся в щель, сожми ладонь в кулак,  
Определи удара расстоянье...  
А девочка качается в кустах  
На ветке, сбросив тяжесть одеянья.  
И тишина.  
И будто ночь близка.  
Тропа к Неве. Разлившиеся лужи.  
Блестит игла сбора, высока.  
Слегка заиндевавшая от стужи.  
Очнись! Не спи! Вдруг цепь твоих шагов  
Помалу восстановит равновесье,  
Разгладится спокойно поднебесье,  
И ночь согреет пением рожков.

Под небом — беспокойно.  
 Вогнут мост.  
 Снег бьет плашмя четырнадцатый день.  
 Как мышь промерзла койка.  
 Стынет воск —  
 Твердь без огня отбрасывает тень.  
 Ни медный царь,  
 Ни медный самовар  
 Не снимут с сердца оловянный стук,  
 Любая тварь  
 Унюхает угар —  
 Желток яйца, хомяк, цветок, паук.  
 Что с форточкой творится —  
 Не пойму:  
 То есть стекло — то кануло в метель.  
 Яйцу ль вариться?  
 Печени, уму?  
 Задраить дверь? Или сорвать с петель?  
 Какой макет  
 Гуляет по столу!  
 Куда курятник делся и дворец?  
 А где Макбет?  
 А карлик где в углу?  
 И ч т о над ними учинил творец?  
 Я глаз твоих не слышу,  
 Сдавлен вздох,  
 Как опознать присутствие твое?  
 Швыряет ветер  
 Крышу о порог,  
 Промерзшее скорежилось белье.  
 Змея с конем —  
 Родня, а не враги.  
 Спасут они? В болотах ли сгноят?

Погожим днем  
Сличим мы их шаги  
И разглядим вранья синхронный ряд.  
Касайся кожей  
Ягоды болот,  
Не находя ни капли под рукой,  
На пыль похожий,  
Дождь кисейный льет,  
А волосы подернулись мукой.  
В пустом гнездове нашем  
Смерзся мох,  
А между нами — полоса воды,  
А сверху машет,  
Улыбаясь, бог  
И зеркальце нам дарит из слюды.

## СЛАДКИЙ ВОЗДУХ

Дым отечества нам сладок и приятен. Еще слаще — или сладостней — воздух отечества, если только он не слащавый и не приторный.

Нищий человек, такой нищий, что бесполезно его описывать, — никто все равно не поверит, — держа немый нос с большими ноздрями по ветру, страшно захотел сладкого чаю. Поставив своими темными руками мятый чайник на два кирпичика, меж которых лежал подметальный мусор и старые щепки, он все это поджег, и оно затлело. По жилью потянуло мерзким дымом, который в одном углу оказался сладок и приятен. Однако нищий человек не воспользовался красивой метафорой сочинительства, потому, наверно, что ею уже пользовались, чайник докипятил, ушел в сладкий угол и стал забирать ртом кипяток из мутного стакана. И казалось ему, что он пьет чай с сахаром, и он выпил несколько стаканов, причем во рту делалось все слаще и слаще.

Потом нищий сомлел, задремал, и в него, сонного, сквозь волосатые влажные ноздри стал с трудом просачиваться воздух. Тоже, как ни странно, сладкий.

А чего странного?

Тогда это был строгий секрет, а теперь никакой тайны нету. Есть наоборот любопытная история.

Недалеко от сарайного жилья немытого чаевника, тоже в низком односкатном сарае, четверо жителей тайно развешивали два кило сахарина и одно кило розового и нежного дульцина.

За это их теперь уже не возьмут, да и брать вроде бы некого, так что сообщим все, как было.

Рая сказала, что товар есть. Что т а м дадут его много, но самим придется делать порошки по два грамма и продать по сколько хотим. Т а м сказали свою цену и что деньги можно потом. Они доверяют, зная Гришу. Что мы не знаем Гришу? — сказали они.

Все еще шла война, но теперь далекая, и Гриша пришел домой без одной руки по локоть. На своем веку он уже поучаствовал в нескольких исторических боях на фронте, а также в реализации американских кимоно в тылу. О кимоно он, я думаю, расскажет, потому что — он готов дать руку на отсечение! — какую, Гриша? — это был самый лучший день в его жизни.

Дававшие сейчас сахарин, давали в свое время и кимоно (или, по-Раиному, к и м о н э), и маленькие буланные самописки, и камешки для зажигалок, и американскую обувь из подарков, среди каковой оказались первые на одной шестой части суши танкетки — брусничного цвета, как бы замшевые, причем по невиданному каблучно-подошвенному утолщению были разбросаны выпуклые золотые латунные звездочки.

Развешивать решили в сарае и — только днем, потому что вечером из-за маскировки сарайных щелей невозможно осветить товар.

Яша, старый человек, уже непризывной к началу войны и толстобрюхий, сейчас был с животом впалым, но все еще старик, и на омоложение его надежд не имелось. Он пошел принести весы, но предварительно потрогал Раину круглую резинку, причем стал хорохориться, что, если Рая допустит потрогать вторую, то весы можно не приносить, а повесить у него ювелирские, и не упадет.



— Старый хрен! — не дала себя морочить Рая.— Вы только врите. И перестаньте распускать руку, потому что мне надо переложиться.

В красном углу, где у верующих иконы, в сарае висела паутина, а в ней сидел тучный крестовик. И этот кивот природы, а точнее, кивот сатаны, ханжески пометившего крестом бородавчатую спину восьминогого страшилища, был вполне под стать несчастному делу, которое затеяли все трое плюс четвертый — Аркаша, на войну не попавший, ибо у него было врожденное заболевание вестибулярного аппарата, или, как он его ошибочно именовал, болезнь Менета. Желаящие женщины знали Аркашино слабое место и, если хотели потешиться, доводили его до головокружения своими женскими уловками, чему Аркаша не противился и, обомлевая, потакал.

В сарае было пыльно и не было свободного пространства, так как кроме полениц и груды неподвластных даже колуну корявых кругляков, теснились там запаршивевшие серые баки для кипячения белья, набитые почему-то старыми калошами (один бак), разнобойными ботинками (другой бак) и неотмываемыми бутылками из под синьки, подсолнечного масла, чернил, антиклопиных нэповских жидкостей и керосина (третий бак). Еще торчали повсюду разные жерди, а также насаженные на кривые палки огородные деревенские железы, так что угадываемое внутри свободное место было заставлено их похилившимися древками, а к залосненной рукояти метлы, словно поклявшись обездвигить ненавистное орудие, прислунил станковую нить своих сетей известный уже нам паук по фамилии Симкин.

Мы забыли вовремя подать его фамилию, хотя на самом деле он был не Симкин, а просто старый и жирный паук. Однако в округе той жил еще и старый, похо-

жий на паука старик Симкин, но в нашем рассказе он бездействует, а жаль, так что пускай будет паук Симкин, потому что не все ли равно — похож старик на паука или паук на старика, тем более, что паук по старости давно уже ходил в мохнатых кальсонах, которые сияли сейчас ворсом на его еще крепких восьми ногах, а когда Рая стала отваливать тяпки, жерди и лопаты к стенкам, и сделала то же с метлой, станковая нить ушла в сторону, и вся паутина, хотя и опасно наклонилась, но зато попала в пыльный луч солнца и засияла слюдяным блеском. Паук же Симкин, со страху сперва ушедший за сарайное стропило, быстро сообразил, что так ему будет наоборот теплее, и снова вышел на пуп сверкающих, как целлюлоза, сетей, и засверкал там в сиянии своего ворса, словно брошка или слоеный знак Императорского Рязанского полка, в котором при царе служил Яша.

Стоило Рае отвалить сарайное дреколье, и появилось место втиснуть столик для развески и столик для упаковки, а также стулья — все венские, облезлые, с утерянными кое-где крепежным болтом, что у венского стула не новость. Аркаше, как страдающему болезнью Менета, поставили стул без донца, хотя этот стул скорее был для Раи: она все равно шире любого донца и венскую дыру даже бы не почувствовала, но она как раз уходила перекладываться, и бывалые сообщники решили, что при таком состоянии ее женского организма Рае на этом стуле может повредить сидеть.

Потом все разошлись. Рая за товаром. Яша за весами. Аркаша куда-то еще. Однорукий Гриша за упаковочным целлулоидом. Паук же Симкин, пока что, подбежал к угодившей в его сети мухе, схватил гостью первой левой ногой, потрогал ей голову второй правой, отчего пленница дала тишайший звон, а голова ее качнулась на мягкой тоненькой втулке; потом крутанул

мухину голову на сто восемьдесят на всякий случай шесть градусов, собираясь второй левой вовсе эту голову откинуть и муху раскупорить, но ворсистые кальсоны первыми в организме его почувствовали страх за будущее, и, проведя муху под белым стариковским своим животом, он передал ее передними ногами третьей и четвертой паре конечностей и, быстро-быстро ворочая этими последними по счету дьявольскими лапами, обкрутил добычу хорошей довоенной паутиной, а потом, уже передними ногами, надежно привязал с краю трикотажных своих сетей, так что среди припасов, а также давно выеденных, но из-за скарденности не выброшенных мушиных кузовов, появился припас новый, который тут же стал вялиться в прилюдном сарайном солнце, обдуваемый слободским пыльным воздухом.

Рая пришла с ничего себе двумя пачками, на газетной обертке одной из которых виднелся угол официальной фотографии работы Устинова и Кислова, а точнее говоря, несколько воинских пуговиц, застегнувших мундирную одежду на теле, дорожке которого не было.

Между прочим, столь опрометчивое использование т а к о й газеты ее обеспокоило, и она, что бы там ни было, но положила сверток на стол фотографией вниз.

Тихо пришел одорукий Гриша с портфелем, полным наготовленных целлулоидных упаковок, и с какой-то штучкой, на конце которой крутилось часовое колесико.

— А свечку ты принес? — спросила Рая.

— В кармане.

— Давай, я ее поставлю! — сказала Рая и спела. — Дай Бож, чтоб он сдох, я поставлю свечку!

— Но этот сволочь, Яков Нусимович, положил ее как раз в тот карман, из которого я не могу вынуть последней рукой! — возмутился инвалид, как и все стра-

давший от постоянных розыгрышей или, по-тогдашнему, "покупок" неугомонного старика.

— Наверно он хотел, чтобы я достала, старый хрен! Подожди, сейчас выну.

— Рая, только без щекотки! Рая, я же сказал... Что ты там делаешь? Отпусти, чтоб я так был здоров!..

Рая, взвизгивая и вскрикивая "Ой, я умру! Это свечка? Это мягкое!", вытащила из брючного кармана переступавшего от щекотки и поднявшего сарайную пыль Гриши, большой свечной огарок.

В сарае от солнечных лучей, было светло и хорошо, и — странное дело — несмотря на то, что солнце светит всегда с какого-нибудь одного боку, лучи просовывались со всех сторон. Они проникали в щели всех стен плюс крыша и пересекались, где хотели, потому что надо уметь устраиваться, а солнце в те годы это умело и, раз уж ему попался кособокий дырявый сарай, оно и совало, куда хотело, плоские пыльные лучи, полосуюя сияющее капище паука Симкина теплоносными своими саблями.

Сарайная дверь отворялась наружу и поэтому, вероятно, снаружи доносились негромкие препирательства. Голос старика настаивал, чтобы дверь открывал Аркаша, а тот, чем-то отговариваясь, отвечал, что не может.

— Ну? Я же держу весы! — требовал Яша.

— Как я открою, если несую это?

— А кто тебе велел?

Рая распахнула дверь, и, громко сопя, спиной в сарай вошел Яша, таща базарные весы с двумя крашенными желвачной масляной краской плоскими весовыми площадками. Вслед за ним, неустойчивый, как покойник, ставя ноги циркулем, Аркаша занес на оттянутых вниз руках двухпудовую гирию.

— У меня же болезнь! Зачем издевательство? — еле выговорил он последние перед смертью слова.— Я сейчас ее отпускаю! — и с ходу ткнулся гирей в оплочную сарайную землю, однако рук от дужки не отлепил, а так и остался сложенный пополам.

— Кому ты это принес? — изумился однорукий Гриша.

— Он велел! Яков Нусимович! У меня все задом наперед крутится...— держась за гирю, чтоб не стошнило, промычал Аркаша.— Она нужна, он сказал, чтобы уравновесить...

— Как он врет! — ахнул старый Яша.— Боже мой, как он врет! Разве можно такой гирей уравновесить мои эти точные весы? Иди и положи, где взял. Нам не надо лишние улики. Как он врет! Как он врет!

Увы, даже при беглом взгляде на жертву, становилось ясно, что от гири он уже не отвыкнет.

— Ты, военкоматный понтыряшник, ты! — продолжал гнусный старик.— Не стой на голове, унеси ее на место и не крути нам патефон.

Сволочной Яков Нусимович специально употреблял разные головокружительные выраженьица типа "крути", "тошнит", "мутит", а это для несчастного Аркаши, все стоявшего над чугунной дулей брюками вверх, было почище рвотного.

— Как я понесу? Как я понесу? Меня же перевернет уже при помойке!..

— Все! — сказала Рая.— Все! От вашего смеха я иду переложиться! Но если к моему обратному приходу, он не будет прямой, я унесу товар, откуда он взят.

Аркаша, словно просыхающий злак, печально выпрямился и с закрытыми глазами стал пробовать врачебные упражнения. Сперва вместо носа попал себе пальцем в глаз, а затем стал сводить указательные пальцы, предварительно разведя до предела руки. Руки

пошли безнадежно не туда, но Аркаша остался доволен, потому что пальцы, как он почувствовал, сошлись. Правый указательный угодил в указательный, умело подставленный палец единственной Гришиной конечности, левый уткнулся в кукиш, высунутый навстречу шухарным стариком.

Ободренный сложной самопроверкой Аркаша, раскрыл глаза, качнулся от света и сказал:

— Теперь я могу вешать, пока не околею.

Старик Яша, потеряв к нему интерес, взгромоздил свои прилабочные весы на стол, и носики их, как только что Аркашины руки, сразу же разъехались — один вниз, другой — вверх. Старик носики свел — они спокойно и точно сошлись. Отпустил, они тотчас тихо поехали, но заняли положение, противоположное первоначальному. Тогда он нажал на платформочку, которая была внизу, и весы почему-то выровнялись.

У Аркаши от такой покладистости вот-вот бы и нарушилось в голове, если бы Гриша, тоже наблюдавший за ненормальными весами, вдруг не задекламировал:

Один Мудищев, звать Порфирий,  
Еще при Грозном службу нес,  
И, поднимая швонцем гири,  
Порой смешил царя до слез!

— Вот это Порфирий! Вот это ГТО второй ступени! Это я понимаю! — одобрил старик.

— А дальше про что? — спросил отзывчивый к поэзии Аркаша.

— Дальше про надо работать! — сказала вернувшаяся Рая.

— Давай-но добавку! — крикнул старик Аркаше.

— Какую?

— Он еще спрашивает! Гирию твою!

— Хватит уже, Яков Нусимович...

— Тогда смотри сюда. На весы.

А на весах одна платформочка взяла вдруг и без груза опустилась. Та, на которой с боков балюстрадки.

— И вы хотите два пуда?

— Да. Я хочу два пуда!

— Слушайте, Яша, вы, конечно, знаете, как подойти к женщине, но не морочьте нам голову, что на этих весах можно свешать по два грамма! — глядя на старого баламута, возмутилась Рая.

— А если можно? Голодранцы! Так смотрите же!

Яша ухнул гирю на замершую в нижней позиции платформочку с балюстрадами, и от жуткой тяжести у весов набрякли чугунные лапы. — Нате вам за таких партнеров две копейки! — разошелся старик и в сердцах положил на противоположную две копейки, а все разинули рты, потому что случилось черт знает что. Две копейки пошли на дно, а гиря стала всплывать. Носики безупречно встали друг против друга.

— Курички мои! — воскликнул Яша.

"Куричками", что должно было значить "курочки", он именовал клювики весов.

— Курички мои! — еще раз крикнул он. — Пуд с осьмухой! — еще раз крикнул он. — Так давайте же сюда упаковку и товар! — в третий раз крикнул он. — Если любите жаркое, начинается такое, что бежите на пожар!

И третьи его партнеры узрели чудо.

В маленький целлулоидный обрезок, сложенный запиской, старик какой-то мелкой ложечкой сыпанул белого порошку, зачерпнутого сперва из-под отогнутой газеты свертка; записочку эту с порошком он положил туда, где уже лежали две копейки, и платформа со щепоткой порошка и двухкопеечной монетой резко поехала вниз, перетянув страшный двухпудовик. Старик

Яша стал перекладывать пальцы с платформочки на платформочку, что-то придержал, пихнул гирю в бок, переложил две копейки на чашку с гирей, подсыпал, отсыпал, пропел "Лопни, но держи фасон!" и крикнул изумленному Аркаше:

— И чтобы мне было запечатано! Калека же не может, он же круглый левша.

Аркаша схватил готовый пакетик, погрел на свечке часовое колесико, приделанное к специальной крутилке, и — трик-трак — катнул колесиком по краешку целлулоидной записки. Запаляясь на ять. В мутном желтом кармашке забелелся подпольный порошок.

— Два грамма. Идите и проверяйте в аптеке. У гондонного провизора, — спокойно и серьезно сказал старый Яша, убрал две копейки в карман, крякнув, снял гирю, перетащил ее в сарайный угол и велел Аркаше:

— Убери к чертовой маме эти весы, чтоб я их больше не видел!

— Ваши весы?

— Мои весы! Что ты смотришь? Ну!

— Кто вам сказал разорять прилавок? — возмутилась Рая. — Почему?

— Потому что так свешать я могу один раз, или когда мне не верят, или когда я вижу, что в магазин пришли с проверкой.

— Но надо же развешать!

— А я отказываюсь? Теперь, когда вы видели, как работает настоящий частник, я вам скажу, что нам надо. Вот эта ложечка — раз, с ней я при Врангеле работал в Крыму кокаин. Аптекарские весы — два. Вот! — и он достал из-под кепки эбонитовые запотевшие чашечки, примотанные к изящному коромыслицу зелеными шнурами. — Две копейки у нас уже есть. Семь пудов тоже, — он потрогал круглую резинку на отставленной Раиной ноге. — Один умник, то есть вот



тот шмендрик, налицо (старик указал на Аркашу, отдыхающего после мучений и чудес последнего получа-са), и один...— он указал на Гришу,— этот... что доро-же нету... что стекло режут...

— Алмаз! — вякнул Аркаша.

— Швонц тебе на глаз! — завершил каверзу ста-рик.

— Ну купил его! Ну купился! — как ненормаль-ный, захохотал Гриша, а Рая, та прямо завизжала от удовольствия.

— Нет! — выкрикивала она.— С этим Яшкой мож-но сдохнуть! Нет! — закатывалась она.— Я должна ид-ти переложиться!..

И пошла переложиться.

Когда Рая вернулась, к работе все было готово. Ма-ленькие лабораторные весы, подвешенные к пристроен-ной на столе железяке, слегка покручивали свои чер-ные чашечки на четырех шелковых шнурках каждая, причем один из шнурков в одном месте был бурый: на него, вероятно, капнули когда-то какой-то едкой вещью, и он выцвел. На столе, застеленном чистой бу-магой, горой лежали целлулоидные записочки общим счетом полторы тысячи штук, ибо три килограмма то-вара, как было сказано, предстояло расфасовать на двухграммовые порции. Еще на столе лежала кокаин-ная ложечка с черенком, ювелирно изготовленным в виде тоненькой трубочки, потому что кокаин снюхи-вался с ложечки через этот самый черенок, предвари-тельно введенный в трепетную ноздрю отпетой и оболь-стительной наркоманки времен краха дома Романовых. Еще на столе лежали две копейки, имеющие в себе точ-но два грамма весу, и точнее этого ничего быть не мо-жет, и в этом можно не сомневаться, как можно не со-мневаться в девяти граммах свинца, которые полага-лись каждому из веселой компании за дела с

сахарином. Еще на столе имела место хрупкая перламутровая кальсонная пуговица, предназначенная уравновешивать целлулоид-тару.

Солнце тоже прекратило свое утреннее беспутство — но в небе, и, уведя ненужный свет с паука Симкина, чтобы в паутине не сиял и от работы не отвлекал, осветило на столе, что нужно. В сарае стало меньше лучей, но больше ровного света. И, если бы вы могли видеть, как пошла работа, вы бы увидели, как может идти работа.

На расставленных Раиных коленях, на тугом, как раскладушка, подоле был помещен газетный сверток будущим генералиссимусом на фасовщиков, и она осторожно развела газетные загибы, образовав в упаковке отверстие. Сидела Рая спокойно и терпеливо; ее делом было подставлять сладостное это отверстие под серебряную ложечку старика. Он же безупречно совал порочную ложечку, набирал сколько надо, аккуратно стряхивал ладонь лодочкой. Гриша, доведя возможности единственной своей руки до невозможного, брал пинцетом целлулоидную записочку и просовывал меж тесно сходящихся зеленых строп, но так, чтобы весы не шелохнулись. Старик же, не менее виртуозно продвинув ложечку, ссыпал белый порошок в желтый мутный целлулоид и, если надо, добавлял или убирал лишек. Однако он действовал столь точно, что этого почти не требовалось. Гриша пинцетом изымал наполненную записочку, а слабоголовый Аркаша ее принимал и прокатывал нагретой на свечке печаткой-колесиком по кромке целлулоида. Затем он куда-то ее убирал.

Они делали три упаковки в минуту, а работать начали в девять утра. Когда требовалось преступную ложечку слегка увлажнить (в сарае давным-давно было сухо и жарко, и белый порошок стал недопустимо летуч), старик ее тихонько продувал, и тогда легкий хи-

мический прах, обложивший паршой ее серебро, улетал в воздух.

Чтобы не устраивать ртами сквозняков тончайшему порошку, они почти все время молчали. Один только раз, непонятно с чего, Аркаша встрепенулся и спросил:

— Ну хорошо... Но зачем вы тащили сюда первые большие весы, Яков Нусимович?

— Затем, чтобы ты хоть раз увидел, как работают люди, а не больные твоей болезнью. Я это люблю. А ты, чертова кожа, что любишь? Мурцовку или суп?

— Суп.

— Швонц тебе на пуп...

Гриша, чтобы от смеха не дунуть на товар, тихо загудел в нос. Рая сдавленно всхлипнула и еле прошептала:

— Нет! Я с ним не выдержу! Я должна переложиться!..

В начале, сказав о нищем, который ни с того ни с сего захотел сладкого чаю, мы забежали вперед. Нищий, шевеля волосатыми грязными ноздрями, захочет чаю именно сейчас, но, что происходит сейчас, уже описано, что этому предшествовало, тоже описано; единственное, что пока не описано, так это вот что:

Он обнаружил себя сразу, когда приоткрыли сверток с газетным вождем и кокаинная ложечка извлекла для Яшиных фокусов первую дозу товара. Хотя летучий порошок в заправской, какую поискать, руке даже не шелохнулся, но все же одна вовсе ничтожная частица стала самовольно улетучиваться в сарайную вселенную. Паук Симкин, слышавший своими волосатыми ногами полет любой мухи в радиусе десяти дворов, сразу засек и летящую пылинку сладости. Он крутанул паучьи свои глаза в сторону подплывавшей в луче странной снеди и, качнув паутиной, создал воздушную воронку; сахаринная пылинка тотчас

скользнула в эту воронку и осела на его роже поблизости от ротового отверстия. Ногтевым пинцетиком какой-то по счету ноги паук удалил ее со щечной волосни и положил на язык. И стало ему невыразимо сладостно.

Как ни осторожничали четверо жуликов, пылинок разлеталось все больше, и, хотя развешиватели старались не разговаривать, слюна их, казавшаяся им сперва сладкой, а потом слащавой, через пару часов сделалась мерзостно приторной.

Воздух тоже все сильнее подслащивался, и это стало ощутимо даже за стенами сарая. Тут бы и написать эпизод с нищим. Но эпизод, не сглазить, уже написан, и довольно о нем.

Паук Симкин очень скоро всепроникающим сахаринным прахом отключил какие-то вкусовые органы, чтобы не пресытиться и вовсе не одуреть. И оцепенел. И только волоскам на его тулове и ногах приходилось не сладко, ибо сладкие пылинки оседали на них во множестве, а волоски отключить было нельзя, потому что — оцепенел ты или не оцепенел — они были сотворены работать без пауз, совершенно аналогично инстинкту самосохранения четверых весовщиков. Паутина, кстати, тоже покрылась сахаринной пудрой, и кое-что сарайное тоже забелелось.

Рая уже не раз аккуратно сплевывала. Но так хорошо, как всегда, ей не сплевывалось, потому что во рту все склеилось. Аркаша, больной человек, нет-нет чиркал горячим колесиком по пальцам или по столу, а горевшая невидимым дневным огнем свечка все чаще потрескивала, ибо все больше белых пылинок влетало в ее необходимое для работы пламя. Только бывалый лавочник Яков Нусимович и служивый человек, инвалид Гриша, хоть и потели от сарайной духоты, хоть и сглатывали слюну, хоть и харкали в дырку от сучка в стеной доске, но пока были молодцом и даже умудрялись

не очень моргать глазами. Правда, у Гриши стало свербить в потерянной руке, и он пару раз принимался чешать пинцетом сарайную пустоту в местоположении спиритического своего запястья.

Дело, между тем, шло к концу, газетный пакет на Раином подоле все больше разворачивался, она тихонько постукивала пальцами по оберточной изнанке, и, невидимые под инееподобной белотой буквы неукоснительных строк, освобождаясь от ссыпавшейся в газетный сгиб преступной парши, проступали все черней и отчетливей.

— Какой чудный сладкий воздух! — сказал старик Яша. — Вся улица сейчас сидит и думает, кто это развешивает сахарин. Но на нас с вами они не думают.

— Почему? — заинтересовался Гриша.

— Потому что все видели, как я нес те первые весы. А на человека, который с такими весами, никогда не подумают про сахарин.

— Ай голова! — ахнул Гриша.

— И еще я мордовался с ними, потому что хотел проверить общий вес. Не обманул ли нас этот пройдоха Симкин.

— Но вы же так и не проверили с общим весом! — откликнулся мыслящий Яша.

— А зачем мне общий вес, если известны э с к и?

— Какие э с к и? — полетел на губительный огонь Аркаша.

— От моего швонца обрезки! Ты, припадочный, ты!

Рая, завизжав сомкнула колени, и последний несоскребаемый прах пыхнул над газетой. Гриша боднул пинцетом зеленый шнурок, и чашечки, крутясь, заходили ходуном. Две копейки от хохота налезли на кальсонную с четырьмя дырочками пуговицу и налегли всем гербом на ее перламутр. Аркаша от провокацион-

ного слова "припадочный", а также из-за приплясывания весов и закручивания зеленых шнурочков, обморочно сел, прислоняясь к какой-то жердине. Паутину из-за этого дернуло, и к ней полетела вся, какая поднялась от хохота, сахаринная пыль. Волоски ног крикнули пауку "Беги!", и восьминогий Симкин, утяжеленный сахаринном, деранул по аварийной нити, которая была прислужена к какой-то цилиндрической стопке чего-то, находившегося на горизонтальном стропиле сарая. И стопка вдруг поехала, поехала, поехала, и какие-то синие-синие бумажки густосиними кружками стали соскальзывать вниз, вниз, вниз.

— Сахарин, чтоб он пропал, мы, слава Богу, окончили! — прихватив один из кружков, с достоинством констатировал Яша.— Антракт с буфетом. Идемте положим этого припадочного на траву, а то он опять принесет какую-нибудь гирию. Или две.

Светило солнце. Воздух вокруг сарая, хотя и сильно сладковатый, казался в сравнении с сарайным просто ощущаемым счастьем. Трава зеленела.

— Этот сарайчик можно теперь пилить на цукаты! — сказала Рая.— И продавать диабетикам.

— Я в долю не пойду. Мне доктор запретил пилить,— слабым голосом сказал положенный в тени Аркаша.— Надо же делать туда-сюда, а доктор сказал, чтоб ни в коем случае.

— Столько туда-сюда, сколько ты делаешь с каждой первой встречной...— начал было Гриша.

— Чтобы я не слышал никаких глупостей про женщин! — строго сказал старик, устраивая руку на Райной круглой резинке. Ее нога, перетянутая подвязкой, приятно напоминала ему языковую колбасу, которую Рая бывало выносила под юбкой с колбасного магазина.— Вы видите, что у меня в руке?

В незанятой руке Якова Нусимовича была круглая густого синего тона бумажка, размером и цветом похожая на известные нам сейчас этикетки крема "Нивея". На кружке чернели буквы. Это, оказывается, тоже была какая-то этикетка.

— Смотрите, что написано, — сказал Яша, — "ГУТАЛИНЪ" с твердым знаком. "б.ВАКСА". "ШАПИРО И СЫНОВЬЯ". "ЛУЧШЕ БЛЕСТИТЬ И ДЕШЕВЛЕ СТОИТЬ". "ПОСТАВЩИКЪ ДВОРА И СОВНАРКОМА".

— Красиво! — сказала Рая.

— Твердый знак — теперь буква "ять", — сказал Гриша.

— Это не тот Шапиро, который был моим двоюродным дедушкой Борухом? — подал голос со своего одра Аркаша.

— Это тот Шапиро. И хотя у него не было такой сильной болезни Менета, как у его двоюродного внука, но на ногах он тоже не мог стоять и упал так, что я за него не дал бы копейку, а в свое время не давал даже две копейки.

— Откуда сыновья? Он же стеснялся жены и ходил тренироваться к блядам? — удивился Аркаша.

— Разрешите не отвечать этому военкоматному понтырщику? — спросил старик у сидевших с ним на лавочке Гриши и Раи, причем двинул не занятую этикеткой руку в резиночные пространства на колбасной Раиной ноге. — Хотя он прав: сыновей у этого Шапиро не могло взяться, потому что сыновей надо родить, а белые женщины от него не рожали. Он же был весь в гуталине, как арап, и жил до поры до времени, потому что у нас все нации равны. Но это был арап с фасоном. И весь его паршивый фасон на этой синей этикетке. Вы, я думаю, заметили, что этикеток тут сколько душе угодно?

— У меня от них до сих пор сыплется в глазах! — подтвердил Аркаша, но все еще с травы.

— И в ушах! — сказал Яков Нусимович.

— В ушах — нет!

— Сделай мне, — пошел на рифму старик, но сбился на прозаический слог, — ...свою болезнь!

— Нет! Я от этого старика не выдержу! Я иду переложиться!

— Сиди, Рая! И не мешай, как этот гиревик, рассказывать! А почему уйдут все упаковки у нас? А потому что, если ты арап и у тебя нет арапки, и твое фамилие Шапиро, не надо давить фасон. "Сыновья" был не он. "Сыновья" был Симкин. Да-да, не "Симкин и сыновья", чтобы "сыновьями" был Борух Шапиро, а "Шапиро и сыновья", так что можете представить, как требовали от него в ГПУ указать сыновей. Он всегда мечтал быть фирмой, но когда в России были фирмы, ему не стоило соваться, потому что он страшно любил, чтобы лучше блестело, но дешевле стоило. И не только мазь, на которую он даже не успел наклеить эти хамские кружочки, но все на свете. Я разве говорю, что это плохо? Люби, кто тебе мешает! Хотя не надо так думать и не надо так жить, потому что лучше всего блестит и дешевле всего стоит человеческая сопля... Но разрешили НЭП, и это фуфло стало фирмой. Симкин ограничивает себя на тихого компаньона, а его подставляет на этикетку. И этот идиот захотел удивить Москву селедкой. Этот хвостун поставил, что его "гуталинь" — б. вакса! Что вы скажете? Если бы он умел делать б. ваксу, то я, клянусь здоровьем, пошел бы к нему простым сажистом или пусть даже скипидарником. Но это же был типичный ликвидатор и отзовист, и он попался на Совнаркомс. "Поставщикъ Двора" еще стерпели; он сказал, что имеемся ввиду москательщик Евсей Двор в Херсоне. Но "поставщикъ Совнаркома"!.. Это провери-



ли, хотя и с большими трудностями, потому что в Совнаркомке тогда было больше Шапиро, чем при царе в черте оседлости, и все они дали показания, что "ГУТАЛИНЪ ШАПИРО" не видели в глаза, что сыновья у них есть, но это подрастающая смена, и что совнаркомовский кладовщик, к слову сказать, тоже Шапиро, закупает ваксу из расчета на все сапоги у фирмы "Торговый дом Симкин", но без твердых знаков. С двоюродным дедушкой вон того лунатика стало ясно. Остались этикетки.

— Да-а-а! — с пониманием сказал Гриша. — На гуталине всамделе не заработаешь, тем более, как вы сказали, инвалид. Я всегда говорил — только кимоно!

— А как мы продавали кимоно у толстой Мани, пусть Яков Нусимович послушает! — зашевелился на траве лунатик.

— У Мани с семьей девочками? — оживилась Рая. — Старый хрен! Или вы держите руку, где положили, или вынимаете ее раз и навсегда! — прикрикнула она на старика. — Так эти семь девочек только и мечтают стать семьей девочками. А Маня считалась бы восьмой. Она, дура, рассказала им про херсонскую бордель, и теперь дочери умоляют, чтобы Маня открыла из них бордель. Они правы — старшей уже двадцать семь, а младшей — двадцать, и в самой миниатюрной — семь пудов, как во мне. Толстая Маня им говорит: "А что вы думаете — я бы не открыла? Но вы же, говорит, видите, что получается: патефон у нас с хорошими иглками есть, пластинки Эпельбаума есть, комната шикарная — пускай одна, но четырнадцать метров, красный фонарь откупим у фотографа, вы, кроме Гиты, с цыцями, женское у вас не по выходным дням и у всех по очереди; что, я бы вас не сделала девочками в краснофлотских костюмчиках? Но есть одно "но" — мужчины и женщины у нас, не сглазить бы, равны, и получается,

что вы получаете, как публичный дом из мужчин. Тьфу! Кто-кто, а я, чтобы я так была здорова, в своем заведении этого паскудства не допущу..." Как они все закричат! Как заплачут! Я как-то захожу, а у них, извиняюсь, как всегда, воняет тухлой рыбой, и все как одна сидят за столом без бусхальтеров и делают вареники. Я не мужчина, но я очень довольна, что это видела. За столом сидели только женские груди, и у всех, кроме Гиты, восьмая грудь! Четырнадцать штук лежали и свисали, и я знаю еще что? — хрюкали, как подсвинки, кладем сюда и материнские Манины. И все лепили вареники...

— Восьмыми номерами?

— Дурак! Пальцами! Но все цыци тоже были в муке, как будто накушались теста. "Вы делаете вареники с рыбой?" — спрашиваю я. "С какой рыбой? С прошлогодней картошкой". "Зачем же вы даете завонять рыбе? Разве можно теперь, чтобы протухало?". "Где вы видите рыбу? — говорят они. — Мы не имели ее много месяцев! А если вам не нравится, как пахнет, так понюхайте себя, но лучше принесите к и м о н э, которые вы обещали, потому что равноправие — это чудо, но мы все еще не теряем надежды..."

— Вот! — вклинился Гриша. — Мы с Аркашей понесли. Симкин был при американских подарках, и как раз шли эшелоны с кимоно. Америка решила, что, когда она откроет второй фронт, чтобы наши люди были прилично одеты. Я месяц как вернулся с одной рукой, и Симкин сказал: "Хочешь — продавай кимоно". Помнишь, Рая, я принес? Это же был шелк и птицы, и бамбук, и как раз, где у тебя энские высоты, были две Фудзиямы...

— А что? У нес — да Фудзиямы! — польстил Рае, меняя под комплимент руку, старик Яша.

— И мы пришли к Мане, а по дороге договорились, чтобы поясами торговать отдельно, потому что это целые отрезки на платье. Они хором: "Где же капоты?". Мы говорим: "Вот, но без поясов, и примерка японская — на голом теле!". Об этом мы тоже поговорили по дороге. Они — все восемь — сразу за занавеску и там пихались и мычали, как коровы. А потом вышли, как жили-были три японки. "Ципы!" — ахаю я. "Ципы-дрипы!" — ахает Аркаша. "Ципы-дрипы-лампомпони!" — говорим мы с Аркашей. — "Что вы обхватились руками, как в телогрейках на трудфронте? В кимоно же главное — рукав. А ну сделайте, чтобы люди видели рукав!". И они разложили руки...

На траве, как дитя, засмеялся Аркаша.

— Ой, у них получился рукав!

Аркаша заливался полезным смехом.

— А у нас получилось, что кругом стояли все Манины дочки, и они все распахнулись. Ты, Рая, говоришь груди...

— Я кричу: "Такие папахи не держат под прилавком!" — заходился на траве счастливый Аркаша.

— А я говорю: "Неужели это не шестимесячные завивки?". И тогда у него закрутилась голова. Эта дурочка, Гита, которая недоучилась на медсестру, надела кимоно задом наперед, и у нее ничего не распахнулось. А когда она увидела, что сестры стоят, как красули, и довольны, что можно видеть их горжетки, а у нее все, как у медсестры, закрыто, она перевернулась спиной и показала такое, что Аркаша сразу сомлел...

— Я сомлел?! Я сомлел, потому что у меня болезнь, а она перевернулась...

— Аркашка! — строго сказал старик. — Я хочу знать правду, спереди они были одеты или безо всего?

— Безо всего!

— На тебе его!— сказал глумливый старик и свободной рукой сделал Аркаше известный мимический жест.

— Я больше не могу! — счастливо взвизгнула Рая.— Я иду переложиться.

Вернувшись, она сказала: "Этот сахарин повредил мне как женщине!", но никто ее слов не расслышал, потому что сказано было тихо, тревожно и грустно, к тому же Яков Нусимович с Гришей слушали Аркашу, который запальчиво убеждал ухмылявшегося старика, как всегда бывшего себе на уме:

— Кимоно! Кимоно там у любого! Да когда туда приехал Михоэлс, так все пять тысяч человек, которые пришли на него смотреть, клали за вход ручные часы с браслеткой. На карманные он плевать хотел. Так часы потом выносили целыми корзинами и отправляли в фонд обороны. Мне Зуля с седьмого проезда рассказывал. Пять тысяч часов! Причем — Лонжин!

— Вранье! — спокойно сказал Яша.

— Чтоб я так был здоров!

— Здоров ты не будешь! Если человек верит в такую липу, он уже больной. Часов с камнями там было самое большее три пары. Все остальное — или штамповка, или — это уже в лучшем случае! — цилиндр. Что я не знаю американцев?! Это же понтярщики почище тебя!.. Скоренько! — вдруг прошипел он. — Мусор! — быстро и тихо забеспокоился он. — Мы сидим и играем в карты! Но вот этого дурачка надо успокоить!..

И, достав из жилетки карты, стал быстро тасовать их перед глазами отдохавшего на траве Аркаши. При этом шухарной старик, глядя бедняге прямо в лицо, монотонно запел:

Э-крутится-вертится  
Шар голубой...

Вдали показалась фигура с походкой местного участкового.

Аркаша, в ужасе следя за шулерскими руками, завел зрачки назад, как курица.

Э-крутится-вертится  
Над головой...

Оттуда, где гробовое жильё упомянутого нищего, то есть из-за сарая, вышел он сам, интересуясь погодой и, что будет теже. В руке он держал граненый стакан кипятку и, всосав, как живоглот, воздух, мелкими глотками стал его запивать.

Крутится-вертится...  
Крутится-вертится...  
Хочет упасть...  
Хочет упасть...

как порченная пластинка, заклинал старый плут запрокидывающегося на траву Аркашу, пока тот не простонал: "Всё... Уже... Хочу упасть... Вы за это ответите..."

Когда подошел участковый, Рая, Гриша и Яков Нусимович, увлеченные картами, совершенно не обратили на него внимания.

Участковый кашлянул и сказал:

— Здравствуйте, товарищи. Во что это вы играете?

— Здравствуйте, товарищ Колышев! В буру мы играем.

— Садитесь с нами. побуримся...

— А почему с женщиной, с товарищ Нисенгольц?

— А что ей еще делать? — послышался с травы обморочный голос. — У нее же красный флаг в амбразуре!

— Тогда, конечно. А что же это товарищ Гаголец отдельно лежат?

— Он спит вечным сном на траву,— отозвался со своего места нищий.— Не будите его! — и, всосав воздух, глотнул из стакана.

— А зачем это, товарищи, вы собрались группой именно у сарая? — спросил участковый, хитрый, но не безгранично.

— А мы инвалиду Отечественной войны помогаем расчищать противопожарную безопасность и сделать уголок стахановца, — сказала Рая.

— Стаха-а-ановца? А сами в карты режетесь...

— Так мы же греемся. Мы же ж ужасно застыли. Там же с зимы еще не прогрелось. Можете посмотреть,— сказал Яков Нусимович, тоже хитрый, но безгранично.

Участковый отворил сарайную дверь и поразился правдивости слов Якова Нусимовича. На лопатах, дреколье, досках и, даже на усах будущего генералиссимуса, глядевшего с аккуратно сложенной и вертикально приставленной к стойке бывших весов газеты, сверкал тонюсенький иней.

Морозной пылью серебрилась большая паутина со всеми запасенными мухами, а сам паук, словно засахаренный, сверкал в ее центре, как еще пока не учрежденный орден Победы.

— Видите! Даже насекомыш дрожит, такой тут холод! — сказала, протискиваясь, Рая и придавила участкового к дверному косяку небывальми своими грудями.— Садитесь! — она подставила милиционеру стул без донца, незаметно шевельнув метлу, к палке которой крепилась главная паутинная нить.

Паука затрясло.

— Ты мотри! — сказал участковый.— Как не прогрелось! — продолжал он, неотрывно глядя на сверкаю-

щего трясучего паука, и ни с того ни с сего добавил:— А что товарищ Симкин, здоров ли?

— Здоров, здоров! Про вас недавно спрашивал! — доверительным голосом сообщил Гриша и взял карты в зубы, чтобы почесать фантомную руку.

— А у вас тут ватрушками пахнет! — заметил участковый.

— Мороз всегда пахнет или ватручками, или херсонскими арбузами, или двадцатью пятью годами ссылки за Полярный Круг! — строго произнес вторую за все время фразу старик Яша.

— Умно замечено! — согласился обескураженный значительным тоном Якова Нусимовича участковый.— Пойду что ли, навещу товарища Симкина.

— Передайте, чтобы переговорил насчет второго фронта! Он знает с кем! — донеслось с травы напутствие блаженного Аркаши.

— Мсье Гордон! — окликнул старик Яша нищего, и нищий сразу шагнул к заборчику.— Нате вам на сорок стаканов чаю (он протянул два целлулоидных пакетика), но, пожалуйста, больше не выходите и глубоко не дышите воздухом. Для чахотки это хуже нет. Когда вы возьметесь за какое-нибудь дело, Гордон? Тут, говорят, один Михоэлс привез что-то около пяти тысяч часов с браслеткой, но штамповку. Почему бы вам на него не поработать? Вы же так продавали часы на Сухаревке. Тут со своим гуталином Шапиро, а тут — вы. И эта ваша реклама: "Только у Гордона около шестьдесят минут в час". И все тикало!

— Что было, то сплыло! Теперь вже ни у кого не тикает! — сказал убогий нищий, быстро взял пакетики, незаметно всосал маленько воздуху и, уходя, солидным голосом уточнил: — Есть товар, вы сказали? А этот Михоэлс не с Риги?

Когда сцена очистилась от ненужных персонажей, старик сказал:

— Рая, возьми себя в руки, Гриша, возьми себя в руку, а ты возьми меня за швонц, и айда фасовать дульцин. Но это в десять раз сильнее сахарина, и у нас его килограмм, и сейчас уже два часа дня, а в каждом часу около шестьдесят минут, как у Гордона с Сухаревки.

Дульцин был розовый, а воздух — приторный. Паук Симкин к вечеру, когда дульцин пошел к концу, несколько повредился в уме и стал выделять розовую паутину, которую скрытно сматывал третьими задними ногами в маленькие моточки. Как видно, на продажу.

Теперь наши весовщики часто выходили вдохнуть воздуху, но тот на значительном пространстве вокруг был немилосердно сладок, так что особого облегчения ждать было нельзя. Нельзя было и оставлять работу. Поэтому, несмотря ни на что, она была закончена, а, когда все уходило и, погасив свечку, сказали "чтоб он сгорел, этот сарай!", в сарае было уже темновато, паук с паутиной больше не блестели, а газета упала на стол будущим генералиссимусом.

Наступал вечер, стало сумеречно и, как полагается в таких случаях, прохладно. В сарае прохлада ощущалась сильнее, и оцепеневший паук, забывшийся и задыхающийся, очнулся и вознамерился заесть пережитое. Ему страшно захотелось соленого, и он пошел на медленных ногах к пойманной мухе. Но там его ждало разочарование: во-первых, муха еще позванивала, во-вторых, куснув ее, он почувствовал тухлый привкус свалки, ибо муха была свалочная. Паук же, привычный к превосходным мухам с мясникова двора, свалочных не переносил. Но все же, как ни странно, Симкин нашел в ее противной затхлости вкус и решил: "Пусть это будет как сыр рокфор. Я ее съем".



Похожий на паука старик Симкин, о чем-то оповещенный участковым, все свои несметные деньги перепрятал за одно из стропил чердака, и там их обнаружит после его смерти, а заодно и после денежной реформы его сын и ахнет, поняв, что сыновняя его, скудная молодость, единственная в жизни и уже прошедшая, могла быть совсем другой, знай он, откуда следовало таскать бессчетные бумажки, лежащие теперь старыми кучами, дурацкие, как керенки или украинские деньги.

Полный сарказмов, ехидства и каверз, драгоценный наш Яков Нусимович, придя домой, станет отмываться, сморкаться, харкать, булькать, запрокинув голову, горлом, затем в подобающем виде предстанет Богу и помолится, а его младший сын, еще школьник (у такого старика!), станет унимать жену Якова Нусимовича, которая весь вечер будет жрать мужа. А Яков Нусимович вскипятит сам себе чаю и с осколочком кускового сахара, потому что остальной, какой есть, отдают мальчику, выпьет на глазах притихшего и удивленного таким искусством сына четыре стакана чаю, и будет впечатление, что осколок совсем не убавился, а что обслюнилось, к завтраму высохнет, и с осколочком можно еще будет пить и пить.

Яков Нусимович пьет чай и обдумывает, как расторговать двухграммовые пакетики, роковым разновесом для которых может стать разновес девятиграммовый.

Однорукий Гриша весь вечер, а потом — полночи, будет чесать несуществующую руку, а она будет чесаться невозможно, и он станет прямо извиваться, и даже начнет бить по ней кулаком, но руки-то нету, и левый кулак его то мимо будет ударять, то по воздуху пролетать. И Грише станут приходить в голову глупые ночные мысли: мол, вдруг это чесотка?! Но он, конечно, спохватится и нахмурится, потому что руки-то нет,

и, что самое неприятное, не будет, и, только вспоминая, как Аркаша волок гирию, Гриша станет счастливо улыбаться, а если вспомнит, какие Манины дочки — лохматые брюнетки, то вместе с неопишуемым мужским весельем почует незабываемый запах тухлой рыбы.

Помните, что сказала Рая, когда один раз возвратилась? Сахарин плохо подействовал на нее как на женщину. А она, из-за кое-каких недомоганий, чрезвычайно беспокоилась о своем цикле, потому что очень ждала с войны мужа и опять хотела ему нравиться, тем более, что уже несколько детей у них было.

Младшая, четырехлетняя девочка, залезла на ее колоссальные колени и стала свою маму целовать и лизать в ухо, и говорить: "Ты сладкая наша мама! Ты самая сладкая!". А Рая, чтобы не тошнило и чтобы избавиться от проклятой сладости в глотке, весь вечер пила рассол и солила еду, и завтрашнюю еду для всех своих детей пересолила. А потом, окончательно решив, что испортила месячные, плакала над последним письмом мужа, не зная еще, что оно и вправду последнее, и что мужа у нее больше нет, и беречь, в общем-то, себя для него уже не нужно, а нужно наоборот становиться вдовой и, после нескольких лет горя и оцепенения, если женский организм сохранится, подыскать какого-нибудь хорошего человека, который бы привязался к семи ее пудам, круглым резинкам и всем этим детям.

Аркаша! Где ты, Аркаша! Тебе лучше или хуже? Тебе лучше? Ему лучше! Вот кто, оказывается, довольно быстро отплевался, прополоскал горло, но голову — грл-грл-грл — не запрокидывал, чтобы не отуманиться, надел сандалеты с дырочками, широкие — сорок два сантиметра внизу — брюки, сжал указательным и средним пальцами намоченную шевелюру, где она от природы образовывала черные выпуклые волны, и по-

шел в Сад им. Калинина. А там были высокие деревья и совсем уже темно. Перед сеансом танцевали "Мандолину, гитару и бас", а под ногами танцующих валялось множество ранних почему-то в тот год желудей.

Женщины танцевали с женщинами. Подростки с подростками. Девушки с девушками. Был один военный, водивший Клаву из Казанки. Аркаша на танцышманцы глядеть не стал, чтобы не закрутилась голова, а подарив контролерше три пакетика сахарину, отчего та села с ним на лавочку у входа (правда, без сахара она тоже бы с ним села), стал расспрашивать, про что кино, потому что, если про море, то он не пойдет, его потому что укачивает, потому что у него, я извиняюсь, Шура, болезнь Менета.

— Ну трепач ты, Аркаша! — сказала контролерша. — Знаем мы твои болезни! Лечим! Я, между прочим, тут в ночь одна дежурю. А кино не про море, а про энскую часть. Комедия. Зажмурь глаза, слышишь, — тебя же от вальса стошнит.

Кончились вальсы и танго, и фокстроты тоже. Все вопхнулись в большое деревянное строение и сели, куда кто добежал. Пошло кино. Аркаша, севший ряду в пятнадцатом, расположился увлечься картиной и стал уже увлекаться, и получил бы большое удовольствие, оттого что с экрана прямо в зал бил пулемет, но смотреть оказалось затруднительно, потому что в первом ряду сидел я и все испортил. Карманы мои были полны желудей, и, едва начинал бить пулемет, я незаметно швырял горстями через плечо литые эти желуди, и они густо били по доверчивым рожам зрителей военного времени.

*Дмитрий Кочуров*

## ЖИЗНЬ

Я чувствую, как жизнь меня терзает,  
Крошит киркою, обливает  
Водою ледяною, в кипяток  
По самую макушку погружает,  
Как будто мяса небольшой кусок.  
Или возьмет — разрежет пополам  
И пустит нас двоих во мрак и стужу,  
И мы, как зайцы, мечемся в ночи,  
Пытаясь что-то объяснить друг другу.  
Или проклятая отрежет руку  
И кость грызет с заката до зари,  
Вогнав в меня гвоздем тяжелым скуку.  
Ее глаза горят, как фонари.  
Она сама, как злой огонь, пылает,  
Игрою смерти по ночам играет.

## НЕБЕСНЫЙ КРИСТАЛЛ

В подвздошья лесопарков,  
В лимфе тьмы,  
Сгустившейся у края водоема,  
Кипело и искрилось небо,  
Сей чудодейственный кристалл,  
Спасающий нас от любых болезней,  
От сна бесовского, от скуки и тоски.

---

© Дмитрий Кочуров, 1991

И я его до ноября искал.  
Всю осень проходил, до боли щурясь  
На камни, на деревья, на дома.  
Вдруг, тот булыжник — маленький осколок  
Того, что я ищу до темной ночи,  
Или он где-нибудь застрял среди ветвей,  
И там пугает блеском голубей,  
А он — не пугало ведь, он кристалл чудесный.  
Его в шкатулку надо спрятать  
И в бархат черный завернуть.  
Быть может, он лежит в квартирке тесной  
И не дает хозяевам уснуть  
Своим таинственным небесным излученьем.  
Но вот уже зима — конец мученьям.  
Напрасны поиски, мне не найти его.  
Теперь придут болезни и утраты,  
И до весны еще так далеко.

*Елена Шварц*

## ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ

Лыжной палкой голос  
Пронзает железный наст —  
Это, наверное, гласность —  
Разве она для нас?  
Привыкли мы к холодам,  
Скрипучей длинной зиме  
И к берлоге своей  
В ледянистой тьме.

Черная туча летит,  
В глубях ее серафимы,  
Если прольется дождь —  
Будем чисты мы.

Цокают семь коней  
Нетерпеливо в конюшне,  
Вот одного повели —  
Мчится по яме воздушной.  
Ржет и ярится второй,  
Время пришло, наступило,  
Чтобы ржанье его  
Созвездия погасило.  
Почкой весенней в ночь  
Рвется моя могила.

Вот я проснулась в своей  
Длинной ночной рубахе —

Что же ты трешь глаза?  
Нет ни омег, ни аза,  
Все только детские страхи.

Только обида Творца,  
Только болезни творенья,  
Жалкому мне червю  
Нет ни в чем упоенья.  
Нет упования, надежд,  
В боли чужой — утешен я.

Счастье также не весит почти ничего.  
Не узнаю его — ты ли?  
Вдвинули время антенной,  
На которую нас ловили.

Завиден мне только тот —  
В ветоши, полунагой,  
Глухонемой, что смеется,  
Мажет соплей небосвод.

Что это — воды иль кони  
Рушатся вниз с горы,  
Всаднику шепчут: коли!  
Голову влажно-немую  
Под землю снестать пронесли.

Иродиада! Змея  
Пестрая, где б ты сейчас...  
Слышишь — все змеи земли  
Шепчут тебе: атас!

Блесткая туча летит,  
Кружатся в ней серафимы,  
Все, кто не спят сейчас,

Будут огнем палимы,  
Если же дождь пройдет —  
Будем чисты мы.

Я опускаю забрало  
Лба — и в долину ума  
Въезжают семь всадников алых —  
Страшнее, чем кровь сама.

И первую печать срывают  
С окровавленных нежных тел,  
Кусочек сургуча не тает.  
Он крепко так на сердце сел.

Свечу подносят, рвут, как чеку.  
Срывают с сердца твоего  
Всю боль родителей от века,  
Святое гнева торжество.

Земля гниет за Иорданом,  
Да и везде она гниет,  
Кружится пепел за туманом,  
На голову все пепел льет.  
Печати, кони, звери, трубы  
Сошлись все на Страшный день,  
Но между рук у них скользнула  
Истаявшая мира тень.

88

\* \* \*

Тише — ангелы шелчутся — тише!  
Я вот-вот, вот сейчас услышу.  
Просто дождь чмокает крышу —  
Кап да кап. Адонай. Эль.



Да подол подбирает выше  
И по стенке шаркает ель.

Нет — это ангельских крыльев  
Легкая давка. Пожар.  
Сто хористов. Дзэн. Элохим.  
Нет! Это все-таки дождь,  
Влажный в сердце удар,  
Передается мне с ним  
От ангелов — слезный дар.

## ОМОВЕНИЕ

(Еврейские бани в Кельне)

Как среди Кельна есть ужасная дыра,  
Во европейском льду прорубленная прорубь,  
В неисследиму глубь Синай-гора,  
В пустыню выбравший немецкий город.

Когда по ней спускался иудей,  
Сначала шел он со свечой кругами,  
А после прямо — в острие, на дне  
Мерцает глазом ледяная яма.

На гималайской глубине он входит в воду,  
Молитва мечется летучей мышью,  
И, наклонив лицо ко тьме и влаге,  
Он спрашивает — Слышно ли? Не слышно?

Лицо его расходится кругами,  
Глаза, как рыбыны, скользя, дробятся,

И кажется ему — лицо другое  
Скользит из глуби, хочет приподняться.

Я не готов. Не время, Элохим.  
И судорога ногу мне свела.  
Ступени. Легче в Кельн идти по ним.  
А сверху запахи каштанов и котла.

— Быть может, повторят колокола  
(Господь, Господь, Ты прошептал мне Имя,  
А я забыл) — там наверху звеня.  
Как пиво из разбитых двух кувшинов  
Льет Кельн свой Himmel  
Прямо на меня.

90

## ДВА НАДГРОБИЯ

Вздрагивает весна. Телятся коровы.  
Легионер умирает в далеком городе Убир,  
Будущем Кельне.  
На берегу большой реки — последней —  
За которой круглится плечо Европы,  
Опускаясь бессильно в море,  
Глубокое море.

Еще не так стар. Перед смертью  
Снесли его товарищи в Термы,  
На дверях — козлы с рыбьими хвостами.  
Это новые веянья, новые формы?  
Нет, это древнее Рима.

— Публиций,— говорят ему солдаты,—  
Мы тебе воздвигнем такое надгробье —  
Выше ворот, что твой цезарь.  
Посредине ты в полный рост, со свитком  
Стихов любимых,  
Чтоб они были с тобою в смерти.  
А мы останемся у твоей могилы,  
Никуда не пойдем отсюда —  
Потому что Империя наша крошится,  
Как засохший хлеб,  
Как гнилая палка.

.....  
И вот чрез девятнадцать столетий  
Мы стоим с моим другом в лесу под Кельном,  
У новенького надгробья,  
Под которым лежит жена его Лена,  
И смотрим на светлый камень  
С вбитым в него православным распятым.  
Там же выбито его имя.  
— Это чтоб хлопот потом было меньше.—  
За спиной оседает, как снежная баба,  
Империя наша.  
Нету Рима, но нету Германии тоже.  
В Рождество Германия в оспе свечек,  
Теплый туман льется в леса дубовые,  
Что стоят на листьях лиловых,  
Как на щитах медных.  
Как на славе римской.

## МИМОЛЕТОМ

И вот я увидала под крылом  
(А ночь была как донная вода),  
Как проступили вдруг и засияли

Округлые золотые города.  
Я чуяла, что Бог был в небе рядом,  
Что Он хранит и Запад и Восток,  
Его мы можем не заметить дома,  
А здесь Он брезжит раньше, чем порог.  
Там глубоко Германия на дне.  
Кобольды, эльфы вспомнят обо мне.  
И Гете там во тьме лежит  
И череп Шиллера в его руке дрожит.  
И рядом с самолетом пролетая,  
Германию в ее котле варя,  
И квинтэссенцию ее добыв, вдыхая.  
Я шепот слышала древесного царя.  
Ах, если б мне туда упасть  
И в золоченой правильной рулетке  
Крутиться и забыть навеки власть  
Судьбы привязанной и клетки.

## ДАНЬ ЗИМНЯЯ

По белке с дыма жизнь берет.  
Хоть по одной — и неизбежно.  
Как поворот  
Реки, набитой пылью снежной,  
Как неба пыльного  
Неслышный поворот.

Как вдох и выдох, кровяной  
Движение нити,  
Как неизбежно воздуху с ноздрей  
Прелюбы сотворити.

И ходит воздух, как шатун,  
Вдруг остановится — и мимо.

Охотница же меж снегов  
Скользит, скользит неуследимо  
И машет палкою в глаза:  
Давай, давай мне белку с дыма.

89

\* \* \*

Дух, одержимый слезным пьянством —  
Он тем и жив — что лижет слезы —  
И слышу я его угрозы —  
Не досчитаться ста из ста.  
Уж темный ангел мусульманства  
Грызет подножие креста.  
Зачем родился этот ангел  
Зеленоватый лунный грозный?  
Чтоб окосел до полусмерти  
Дух, одержимый пьянством слезным.  
Заплачешь ты —  
Крадется ближе  
До слепоты  
Глаза залижет.  
Он даже и жалует нас,  
Но горелюб и слезоголик —  
Он постарается, чтоб слез  
Напиться досыта, до колик.  
Когда он долго не пивал  
Горячих горьких слез стакан —  
Он кинется на самолет  
И вздует ураган.

## ИЗ ВСЕГО

То, что Гутен-станок  
Прижимал к молоточкам —  
Боязливой бумаги шершавый лист,  
То, что в ухо вползало, ахая,  
Что в трубу святого Евстахия  
Набросал пианист, наташил гармонист,  
Нашипела змея,  
Нашептал дурачок,  
От чего сжималось глазное яблоко,  
Все — чем память набила мешок —  
Надо его отдать рано ли поздно —  
Из всего — только всего и жаль —  
Звезды, и даже слова о звездах.

\* \* \*

Там, где печалью отравившись,  
Завоев путник: Ханаан,  
Там, где Рахиль пекла олады  
На придорожном плоском камне,  
Где небо ангелами каплет,  
Как ночью поврежденный кран —  
Не для меня серебро оливы,  
Я не была бы здесь счастливой,  
Не здесь мой дом.

Где ангелы летят дождем  
В булыжник тертый, камень битый,  
Надо всем стоит Исакий,  
Тусклым золотом облитый.  
Где ангелов метет мятель,  
Мятель метет — туда, туда,

Где демоны, как воробьи  
Сидят на проводах.

Где истончились дух и плоть,  
Где все — пещера и провал,  
Где стоит палец уколоть —  
И сонмы духов с острия  
Влетят под кожу и галдят.  
И где толпа полупустотна  
Не замечает облак плотный,  
Ведущий под уздцы трамвай  
В Коломну, наш вонючий рай,  
Не видит, видя, столп.  
Зато с рожденья знает всякий,  
Что он — пещера, камень битый,  
Как молчаливый наш Исакий,  
Мутным золотом облитый.

*январь. 91*

*Олег Юрьев*

## ЗАПИСКА НА ПОГОНЕ И ДРУГИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

### ЗАПИСКА НА ПОГОНЕ

Что я сказать могу без спора?

— Кругла земля, она тверда.  
Щемящие щиты Боспора  
Опять тесны как никогда.  
А там, на Севере, полночный  
Костер катается по мху.  
Всей пустотою позвоночной  
Луна приникла ко штыку.  
И кто же, кто же в чаще бродит,  
Железками брснча из мглы?  
Не бес ли его в бездне водит,  
Небесные кося углы?  
Не ангел ли его морочит,  
Украдкой верный путь торя?..

...Боспор кипит, Боспор бормочет,  
По дну катает якоря.

1981



Несть встречи  
С подложечным косым крылом —  
Всё хлад плечей, всё лон ослабших течи,  
Всё камешки во рту кривом.

1981

## ДВА СТАНСА

Такая речь подобна междометью,  
И голос колоколен: между медью  
И медью круглый пролагает путь.—  
На вервия разобранную плетью  
Его не припугнуть.

Так русская проветрена округа...  
Слабеет колокольная подпруга;  
И колокол сам по себе урчит...  
И путник из испуга  
Лошадку горячит.

1981

## ПРОСТОДУШНЫЕ СТРОКИ

Собора сиротские кости,  
Громоздкие, легкие купы.  
И сора продрогшие горсти  
Взирают в зеленые лупы:

Над вашей крышей блестящей  
Зимы голубиное тело;  
Над рынком, торговою чащей  
(И лето ей пальцев не грело);

Над парком — зиянием светлым  
Проточенных легких развалин  
(И реки сокрыли под ветром  
Блистанье своих готовален);

Над светлым зрачком пешехода;  
Над сором калошных замочков;  
Над зябнувшим сердцем завода;  
Над хором древесных сыночков,

Чье время, что пело громоздко,  
Толпою туда полетело,  
Откуда, с ледяного подмостка,  
Спешит голубиное тело.

Спешит голубиное тело.

Спешит голубиное тело.

1981

## ВАЛЬС

Зеленые метры погонные  
На невских, на венских плечах.  
И сердца дубов заголенные  
Вздыхают в морозных печач.

— Что, холодно, бедные?.. Тесные  
Зеленые зубы скрипят.

Военные трубы небесные  
Звучат невпопад.

1982

\* \* \*

Возились полный день, а вот уж и пора. —  
Тревожатся и старшие: "Что дети?"  
"Явились бы уже... как канули с утра...—  
"Вот вечер катится, сверкающий, как сети."

Мы — камень и огонь; мы,— дерево и вода;  
Мы,— воздух, свет и кровь; должны спешить —  
уж тёмно.  
Когда же побежим,— кто как и кто куда,—  
Песочница пуста останется, огромна.

1982

БАЛЛАДА

...я увидел, как мимо пошли  
Всех задутых садов корабли  
На стоянья ночные;  
И узлами большими свой сад я связал,  
Он задохся, да слово сказал  
Красно-пестрой рукой, как немые:

"Не моей ты рукою обнимал да дарил,  
Не моей ты рукою, как немой говорил,  
А своею рукою...  
Пусть же сердце немое подскажет тебе,

Что несут на горбе  
Ветры — пестрой и красной рекою".

1982

## ДВА СТАНСА

Упала перед дверью головня,  
И воздух, выдыхаясь из огня,  
Коснулся разлетающихся стекол  
И горлом медным, как голубка, клекал,  
И полым глазом щелкал на меня.

Всё тленье празелени, всё сиянье тьмы,  
Все воздуха блестящие холмы  
Растаявшие, стали, будто прежде;  
И перед смертью в буднишной одежде  
На все колена становились мы.

1982

## ВОРОН НОЕВ

В саде камневом, охладелом,  
Желтом и синем саду,  
Всем изощренным именем — телом  
В небо я овчее да ниспаду. —  
И не почувствовав расстоянья,  
И не успев вздохнуть,  
Птицею таянья и сиянья  
Себя я смогу вогнуть. —  
Луком темным, мчащим вместе  
С светлой стрелкой своей

Во все уходящее перекрестье  
Все надвигающихся огней.  
Якорь я в звездных волнах свистящих  
(Крылья полны смолой);  
Ворон я в синих облачных чашах  
Над желтой Землей-Волной,  
Где — весь раскаченный волн бегом,—  
Лишь камневый сад еще не померк,  
Где над желтым и синим ковчегом  
Я, ворон, все падаю вверх.

1983

## ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

### 1

В слоях у облаченья ночи  
Зерцальная волна — черна,  
И сна изъязвленные очи,  
Незримые, глядят со дна.

В реке царит река, незрима,  
Но небеса не в небесах, —  
Неясный огонь Иерусалима  
В верховных меркнет поясах.

И не снести ни сна, ни знанья,  
Ни дня, угнанного в полон,  
В реку двойную без названья,  
В воротцы роговых колонн...

(...Как падчерица расстоянья,  
Стоит на сваях смутных ночь,

И несть ни слова, ни сиянья  
Всю эту муку превозмочь...)

А день — иглой ко дну, из виду...  
...И — вверх! В застывшую грозу!  
Во взрезанную пирамиду  
Со странным отсветом внизу.

2

Владею сердцем я, и сердце есть у мира, —  
Во мгле зерцающей — невидимо и сиро,  
Никем незнанное, не манит никого —  
Дрожь каменная лишь — в шаг сердца моего.

За нею движусь я. Сухое в сердце жженье  
Мое руководит слепое продвиженье, —  
Зерцальных плоскостей касается рука,  
И царствует душа — несчастна и легка;  
И как ни различай огни и наважденья —  
В частичках царской мглы — близнец  
изображенья.

3

Возвращаясь с русского плена,  
Говорил я сходящему свету:  
"Зря же всё... всё чернее измена...  
"Твоя кровь... Её царственной — нету...

"Зря же всё.. в погремушках костячных  
"Тени ходят по страшному раю...

"Неисчетных, ненужных, невзрачных  
"Их — нежней и скончанней не знаю.

"Даже смерть ни один не дождется,  
"Стало, глас ни один не слышит,  
"Просто, словно волна, распадётся  
"Неба свод, что созвездьями вышит."

"Все скончались?" — свете дивится.—  
"Аж оставивши вживе живого?  
"Ну а чьи ж эти костные лица  
"За тобой зазияли лилово?"

"А..." — сказал я... "Они? Сам я, знаешь,  
"За собой звал молчанье и ужас,  
"Возвращаясь с русского плена  
"В неба свод, что созвездьями вышит."

4

...А я взращен в кладбищенской столице,  
Чтоб юный флот стихов флотоводить,  
И ощущать, как месяц узколице  
Из дна Невы высучивает нить.

И замечать сквозь тени снежных стекол,  
Как царское серебро хоронит дым,  
И молния, невзрачная, как сокол,  
Перед созвездием стоит моим.

1983

\*\*\*

Не голос, нет уже, — нам голос невозможен.  
Не музыка еще — мертвы мы не на столь...—

Есть только скрип меча, ползущего из ножен —  
Так звуков падает заржавая фасоль.

Куда бы я ни шел — не слышу я отзýва.  
Куда бы я ни пел — не вижу ни́кого.—  
Лишь в море — скатная жемчужина отлива; —  
Так обнажается безмолвья вещество.

Но от нависших скал ко мне приходит эхо,  
Со стоном шевеля пустых мбрей меха,  
И падает к ногам среди греха и смеха,  
Горящей птицею стиха.



О муза! Надевай же бранное убранство! —  
Чужие голоса на кладбище твоём; —  
Нам нужно, чтобы жить, такое постоянство,  
Как никому ещё, чтоб только жить вдвоем.

## ВО ТЬМЕ И НА СВЕТУ

*Д. Заксу*

Во всяком воздухе, во всяком волокне,  
В биении волны, в переполнении тверди —  
Зимы глаза, зимы... Но их не страшно мне:  
Бессмертны мертвые — они не знают смерти.

Цветка биение бессветною главой  
О воздуха волну — весь воздух развалило...  
А я... со дня, как был последний раз живой...—  
Ничто, что кончено, меня не удивило.



У птицы в воздухе дыханье не лови.—  
Ей в гнутой полости грудной — волны  
не сдвинуть...

А я... я и не жду круженья от крови —  
Ей в венах кожаных давно уж не застынуть.

Крови воздушной, темной волны извели  
Всю кровь зеленую в деревьях...— и несложно...  
А я... я не боюсь...— ушедшие — ушли,  
Еще кому-либо исчезнуть невозможно.

Биение ветров помчится целовать  
Живых существ в сердца — прощально и безусто...  
Им сердца моего уже не разрывать...—  
Во гнутой полости грудной — черно и пусто.

Зима лишь ночь живет. На воздуха волне  
Перемещаются ее бесцветные одежды...  
Я смерти не боюсь... ее не страшно мне...—  
Бессмертье — в ожиданьи без надежды.

Я не коснулся уст владеющей весны.  
Очей я не коснусь светлеющего лета.  
О Господи, скажи, какие сны нужны,  
Чтоб жизнь переждать и жизнь отдать за это.

От снега свет весны. А лето из листвы  
Чуть вянущим его глядит немолчным оком...  
О, жизнь переждать, как Бога звать "на вы",  
Как песнь державная в дыму мясном, высоком,  
И лесь своей стране, что мирно спит в крови.

1983

---

В первых шести строфах стихотворения использованы мотивы первой части стихотворения Т. Харди "Во мраке"

## ЗИМА

Деревья все в снежных митенках,  
Наморщившихся слегка...  
И старые, и обратные,  
Нераздвижные облака.

Разделась жизнь незваная  
Аж до сердца — ну нет стыда... —

(Прошайся же, душа желанная,  
И уезжай... (— "Куда..?") ...)

И только что в снежных митенках  
Все руки у нее...

Скрипит, скрипит под каблуком  
Вискозою ее белье.

1985

## ЗДЕСЬ

Как в строку Норд, так сразу Зюйд на ум.  
Так же здесь: запах парусины  
Да водометный, вероломный шум  
От лавра русского — осины,  
Да так же тесны здесь витки:  
Одним и тем же грех и смех возмездны  
Здесь, здесь, на расстоянии руки,  
В прозрачной раковине бездны;  
И так же в язвах облаков  
Сукровка сквозь отрепья брезжит...

Лишь адский зуммер не таков,  
Каков он был. — Теперь он скрежет.

1985

## ОДА

*... человек... странная полость*

*Р. Музиль*

Человек, эка странная полость! —  
С красной черной подкладкой мешок! —  
Там кружит заварная веселость  
В золотых ксилофонах кишок,  
И раскóшенный, страченный воздух,  
Что застрял в костяных веерах  
И уже не прознает про отзвук  
Свой — Вселенной колеблющий прах.

1985

## ГОСТЬ

Чернорéчного неба излучина,  
Где оóраченных волн без числа,  
Где луны полусбилась уключина  
От безвидного тренья весла;  
Где миры с их сияньем и косностью  
Из окошка — как рябь да струя;  
Где по ленте с единственной плоскостью  
Все скользит — недвижима — ладя.

И такое тут слово напишется,  
Что обуглится перышка ость:

Там, внутри, у бесследного пиршества,  
Есть незванный, но призванный гость.

Он сырой, раскоряченной карлюю  
У стола дорогого воссел;  
Ни стыдом не удержан, ни карюю,  
Красной утварью загремел; —  
Да как схапает брашно заветное!  
Он слепец, попрошайка и вор.

И вино заповедное светлое  
Так и плещет из звездных амфор!

Ну и как его, скушного, вынести?!  
У хозяина мрак по лицу...  
Эк бы встать, да и вон его вывести,  
Да куда ж ему деться, слепцу?  
И хозяин глядит не навидится.  
И молчание тягостней тьмы...

Ну когда же он, наглый, насытится  
И потянет псалтирь из сумы?!

1985

## СТИХИ ВНУТРИ ЭПИГРАФА

*Сколько вброд ты ни крупнй,  
Вод не развернется свиток;  
Сколько духу ни есть в груди,  
Вечно будет длиться выдох;*

Порошащийся запах кривожилой коры  
И тягучее, потное листенье,  
Так преполнили древ лоскутные шары,

Что они безвоздушны поистине.  
Но ведь город — веселый. Он навек в небесах,  
В заблокнутой просинью пропасти: —

И залив на своих зеркалах-парусах...

И река на сверкающей лопасти...

И летучие слюни всех гранитных арахн  
Узким блеском в поднёбесьи зыбятся...

Ну а древа замкнулись в бездыханных шарах:  
Нипочем не взлетят — лишь рассыпятся.

... На коленях — корнях цепных — человек,  
Выдыхая пузырьки копоти,  
Отгибается книзу? или падает вверх? —  
Я не знаю, прости меня, Господи...

*Сколько ни было бы огня,  
Все равно ведь мрака много;  
Сколько ни было бы меня,  
Все равно ведь больше Бога.*

1990

## ДВА СТАНСА

В безмездром, клочном, серочерном меху  
Сбрелися деревья к шоссейной воде  
За некого путника ради.  
Ан некому выдти к осиной звезде,  
Неровно вздыхающей в синем верху,—  
Скучать о потерянном аде.

С зарей же наверно вернутся они,  
Ввернутся, встряхнутся на месте своем  
В одежке лоскутной, лощеной.  
Звезда развернется в рябой оком,  
И только лишь мокрые осы одни  
Воздравствуют рай возвращенный.

1990

## ПРЯХА или СТИХИ НА ВТОРОЕ ИМЯ

Долго ль дышать еще мясом стеклянным?  
Коротко ль пить волоконную соль?  
Смертная скука! бессмертная скука!  
Долго ль извечная ночь коротка?

Кто здесь такая распухла-разбухла,  
Вывернув небо из мрака ротка —  
Рябка татарская? девка-обидка?  
Борная мгла? заварная оса?

Крыса крылатая каркнула швидко,  
Обморок крестообразный неся. —  
Это не к нам, это к новым древлянам  
С оловом жарким обратный посол.

Так что остались одни мы во мраке —  
Пусть никакое — а все торжество...  
Крестное имячко чёрно у Пряхи:  
Что же, теперь мы сознали его.  
Сколько сглотнул я осколького мяса,  
Сколько струящейся соли вдохнул,

Прежде чем олово смертного часа  
В якорь бессмертного часа вогул.

1990

## STEEL NATURE.— SUBURB

(разноударные рифмы)

Облаком прозелени облекается лоно луны.  
Сине-сизая прóволочинка из раздернутой паутины  
Проскользает в скалистых невздыхающих небесах.  
Чуть лишь передернется горгонка ртутного фонаря,  
Обнаружа пробор в лучистом подчесе.

А все деревницы не так чтоб уж сильно юны.  
Косицы расклеванной черной зелени —  
расплетены.  
Дотлевают последние платья на беспросветных  
невестах,  
У дороги стоящих. глядя, как голова свиная  
Грузовика приближается, скача, по шоссе.

1990

## ON THE DRIFT

I

От карлсбадской грязи до курильской гряды  
(Не гляди, коль решиться не хочешь ума)  
Опускается пани славянская тьма,  
Шевеля парашютные стропы.  
А от саклей саксонских до скал столбовых

(И сюда не гляди, коль еще не обвык)  
Осторожно моргают косые ряды  
Электрических кладбищ Европы.

Коробок заводной превращается в течь  
И течет по ночному шоссе под уклон,  
В нем четыре жильца, помещенных углом  
Меж нетвердых стекольчатых створок.  
Полуспящий водитель не смотрит вперед —  
В подземельного мрака расстрелянный рот,  
А на заднем сиденьи приходится лечь,  
Чтоб не вытек затылочный творог.

II

*Л. Г.*

Небесный начинается прилив.  
Колышутся медузы звезд все ниже  
И, пылью лунной линзу запылив,  
Туманят зренья в перископьем криже.

В поднебной лодочке катясь по дну,  
Почти проржавив крышу едкой пеной,  
Глядим на захребетную страну,  
Ошеломленную своей изменой.

Хоть лучевою жижей и полны  
Колодези забстренные башен.  
Но мы не знаем: так ли уж страшны  
Они тому, кто никому не страшен.

Не так уж эти башни высоки...  
Но вавилонски небеса так низки...



Что слышим плески ангельской трески,  
И нам подглазья проедают брызги.

Европа, опускается на твой  
Стеклянный дом, аквариум дыханья,  
Сей вавилонский сумрак паровой,  
Железного исполнен колыханья.

Европа, опускается на наш  
Стеклянный домик, движущийся слепо,  
Вошедшее в уже последний раж  
Куреньями раскормленное небо.

*1991*

## РОЖДЕСТВО

1

Вот уже сколько лет я живу с мыслью совершить нечто великое. Будет это скорее всего в области литературы — математик я аховый, слух у меня швейковский, спорт мне не по плечу — словом, литература. Первый мой опус был роман из японской жизни: "Г-н Синекура Мамура, банкир и промышленник, дождавшись зеленой улицы, плавно заскользил по Гинзе во главе колонны автомобилей, скопившихся на светофоре. Ехавший был настолько заинтересован статьей в "Токио-сан" о пуске в строй новых мощностей, что поминутно косил глаза под себя, где ему прикрывала колени газета. Внезапно под колесо метнулась тень девушки. "Гейша! — мелькнуло в мозгу промышленника.— Вот до чего ее довели раз она решила покончить жизнь самоубийством, бросившись под колеса автомобиля". Машина резко свернула и опрокинулась в кювет. Из открывшейся дверцы безжизненно выглядывала голова Синекуры Мамуры. Это был высокий мужчина нерусского вида с красивыми глазами, грустно взиравшими на мир из-под пушистых ресниц. Девушка встала и медленно подошла к нему..."

— Стоп, — перебил меня отец. — Это глупости. На Гинзе нет кюветов.

Он только что вернулся из Японии, и чемоданы его были полны детских вещей из доселе невиданной син-

теттики. На дворе стоял пятьдесят шестой год, и шел тогда одиннадцатый год моей жизни — так что ошибся тот, кто сразу все понял, сказав: "Ага, опять про графомана и опять от первого лица". Нет, друзья, я не графоман, я просто развивался. Вот уже отрывок из поэмы пятьдесят девятого года. (Отец приехал из Америки, на мне синие с красными отворотами сливы, т.е. джинсы, не буду рассказывать почему, но "сливами" на нашем с ним языке называлось любое проявление его родительского чувства, будь то гостинец, письмо или даже записка, оставленная в дверях).

Отрывок из поэмы:

В тормозах дорожного скрипа  
Стоит переросток на перекрестке:  
Голова елбринново обрита,  
В сердце другой подросток.

(Влияние "Великолепной семерки" в сочетании с Блоком, которым в те годы не мог не увлекаться: "Стоит буржуй на перекрестке...").

Четырьмя годами позже я поступал в Горьковский институт с рассказом, заканчивавшимся словами: "... А город зажигает над ними свои огни". (Парень с девушкой, держась за руки, истанвают в перспективе улицы — асфальт влажен — так и просится: "конец фильма"). Срез молодого дерева пришелся под самый корешок, можно сказать, поскольку еще до начала экзаменов, в анкете, в графе "пол" написал "самец". Отец ничем не мог быть полезен и лишь телеграфировал из Южной Америки: "Лети Киев пединститут или Устименко". Но беленькой бумажке с грифом "Отпр. международное" не суждено было меня застать, к тому

времени я уже сдал последний экзамен в Рижский университет им. Стучки.

— На Запад потянуло, как и тебя,— объяснил я впоследствии отцу, почему предпочел коклу бандуре.

— Пострел,— засмеялся отец и покраснел.— Вот тебе, Вовка-морковка, носи да предка своего не забывай.— Он надел мне на запястье такую чудную сливу, у которой циферблат заменяла рубиновая пластиночка со вспыхивавшими на ней чертяками.— Ну как, Вовка, сила?

Подделываясь под ложно-молодежный жаргон, слюнявый и выдуманный В. Пановой, отец не понимал, сколь жалок и смешон становится. Особенно, когда в компании моих сверстников начинал разыгрывать из себя "вполне современного старика": "Чувак, схавайте, пожалуйста, банан". В таких случаях мне бывало противно и больно, и хотелось, подобно раненому зверю, своими же зубами наказать свой же собственный рваный бок. Вот почему вместо благодарности я только махнул рукой:

— Часы... ты бы хоть раз привез мне что-нибудь для моей литературной работы.

— Но я думал, ощущение времени необходимо писателю...— Я заметил, как на миг он закусил губу.— А что бы ты хотел?

— Трубку.

В другой раз, получив трубку, пенковую, из Стамбула,— я сказал:

— А у Абрамова есть дома "Доктор Живаго", ему какой-то моряк привез. Теперь, пока я буду курить трубку, он будет читать "Доктора Живаго". Эх, жисть! Рискнул бы раз — да проташил стоящую книгу, которую в этой проклятой стране...

Как ни странно, но ничто не уязвляло отца больше, чем напоминание о советской власти. Служа ей не за

страх, а за совесть, он тем не менее как-то умудрялся, если не изображать святую невинность, то, во всяком случае, сохранить поразительную избирательность восприятия. Это походило на жизнь в выгребной яме с соблюдением, по возможности, правил гигиены. Все, что оказывалось за пределами такой возможности, замечать было как-то не принято, и когда я вдруг делал это — бесцеремонно заявлял правду в лицо — он сразу же съеживался, краснел — он вообще был мастер краснеть. Раз только, помнится, он сказал, что если кому и быть недовольным, то уж никак не мне. Ну и выдал я ему тогда... (А книжку он мне привез. Заговорщицки поманил меня и, не говоря ни слова, постучал пальцем по ящику письменного стола, в котором она уже лежала — маленький сюрприз. К сожалению, это оказалось совсем не то, что я хотел — какой-то допотопный сборник рассказов, где даже орфография была сохранена времен Гостомысла: ять на яте и ятем погоняет. Полистав все же для вида, я усмехнулся — вслух, так чтобы отошедший к дверям и оттуда смотревший на меня, он все слышал:

— Хо, белая акация — цветы эмиграции, — и положил книжку обратно в ящик).

Но вернемся к моему намерению потрясти литературный мир. Рига с ее высокой культурой кафе пользовала меня в этом отношении чрезвычайно. Как известно, лучший стимулятор гениальности — это молодежное кафе, если просиживаешь в нем по целым дням. В "Вэдриге", совсем недолго постояв перед этим в очереди, старые латышки ковырялись ложечками в бисквитах, в "Птичник" слетались консерваторские курочки, "Аллегро", большое, вокзального типа кафе-мороженос, захватили деревенские, в "Луне" был сборный пункт отъезжающих в Изгоил, и наконец в "Клубе 13 стульев" собирались мы, интеллектуалы. Номером пер-

вым здесь считался Бабаян, украинец с армянской фамилией. При этом его звали Ян, и Ян все время грозился сменить фамилию на Бабенко; впоследствии, женившись, он просто перешел на фамилию жены. Ян Бабаян открыто держал себя за всезнайку, и как раз за это я его не осуждал: с его чрезмерными знаниями ему не было никакого резона казаться не тем, кем он был на самом деле. В уголке моего портфеля вместе с сором — неизбежным даже в дамских сумочках — по-моему, и по сей день валяется стершийся по многочисленным сгибам листок, где рукой Яна написана в столбец двадцать одна знаменитая фамилия на "Н".

Это была смешная история. В нашем кафе меня вдруг ни с того ни с сего называли "турком", моим старым школьным прозвищем. Назвавший меня так не был мне знаком и вообще, как оказалось, был пьян. Меня удивило совпадение, Яна же, наоборот, удивило, что он до сих пор сам не замечал, что я — турок.

— Я такой же турок, как ты армянин, — сказал я.

— Это удар ниже пояса, — запротестовал Ян. — Ты говоришь так только потому, что знаешь мою фамилию.

— А ты — мою.

Ян помолчал, раскурил турецкую пенковую трубку, которую я ему подарил, и сказал:

— Набок — вовсе не турецкая фамилия. (Я, извиняюсь, забыл представиться).

— Турецкая, из-за нее мне и прозвище дали.

— У нас в школе была одна свечечка — Набок, — вмешался кто-то третий.

— Ну уж увольте, — тут запротестовал я. — Она, наверное, была Набох или что-нибудь в этом роде.

Слово за слово, и Ян вдруг говорит:

— Эх, не быть тебе, Красно Солнышко, великим человеком. Человечество по великим людям квоту на "Н" уже выполнило.

— А на "Б" еще нет? — отпарировал я.

Опять слово за слово, и Ян предложил мне устроить поединок-блиц, кто в минуту больше настроит знаменитостей: я на "Б" или он на "Н". Победила дружба. Моих было больше, но кой-кого пришлось вычеркнуть, поскольку я не помнил, кто они такие. Если память не изменяет мне и на сей раз, то вычеркнуты были: Баженов, Боголюбов, Бассомпьер, Бахус (не композитор — другой) и еще несколько. У Яна же к каждому имени имелось хоть и кратенькое, но примечанье: "Нелеп — первый тенор после Лемешева и Козловского, Нельсон — знаменитый борец, первый сделал прием "двойной нельсон". Впрочем, вот весь его списочек, он у меня, как я уже говорил, сохранился:

Некрасов ("Однажды в студеную зимнюю пору...")

Некрасов ("В окопах Волгограда")

Нахамчик (настоящая фамилия Свердлова)

Набуту (политический деятель, убивший Лумумбу)

Набутов (сам знаешь кто)

Набатов ("Мы с приятелем вдвоем вам частушки пропоем...")

Нагибин (знаменитый кинорежиссер, за фильм "Дерсу Узала" получил Нобелевскую премию)

Надсон (гениальный поэт-декадент)

Нансен (открыватель Южного полюса)

Никсон (президент)

Нельсон (знаменитый борец, первый сделал прием "двойной нельсон")

Нельсон (знаменитый военачальник)

Невский (знаменитый военачальник)

Нахимов (знаменитый военачальник)

Наровчатов (выдающийся атомщик)  
Навуходоносор второй (грозный царь иудейский)  
Нежданова (выдающаяся артистка)  
Названов (выдающийся артист)  
Незвал (чешский декадент)  
Нелеп (первый тенор после Лемешева и Козловско-  
го)  
Наполеон (неразборчиво)

Но хотя "победила дружба", и мы набрали приблизительно равное количество очков, он взял скрупулезностью знаний, я — широтой охвата, все же тень сомнения касательно моей будущности из-за фамилии, начинавшейся с "Н", у Яна оставалась. Желая развеять также и эту тень, я в тот же вечер принял решение отнести в редакцию студенческой газеты что-нибудь из своего. Рассказец, который увы (а может, и не увы, Богу видней) не спас меня от провала при поступлении в писательский ВУЗ, мне показался вполне годным для литературного дебюта. С ним я и отправился к редактору газеты Косте Самохину.

Костя — этакий номенклатурный деятель из лысых очкариков, которым уже давно за сорок, а они все еще "кости" по роду деятельности — тут же на месте пробежал глазами мое "Сретенье душ", но при этом прийти просил через недельку — для беседы. Через недельку он сказал, начав дежурной фразой всех гпэзушников: "Я ознакомился с вашим материалом (второй Лева Шейнин), и, вы знаете, вы меня порадовали. Мы только слегка изменим название. Гораздо лучше будет, — Самохин заглянул в мою рукопись, — "Любить". Так современной, а то "души" — это как-то, знаете, из словаря наших бабусь и дедусь. И, разумеется, произведем маленькую стилистическую правку. Есть возражения?" Возражений не было. От Самохина я ушел с твердым



намерением не узнавать его при встрече и не здороваться, словно мы совсем не знакомы (словно — забегая вперед — я — оригинальный текст рассказа "Сретенье душ", а он — то, что выпустил под моим именем их грязный студенческий орган; только истаивающий в сумерках вечернего города конец — "конец фильма" — с двумя рядами фонарей на двубортном кителе неба они сохранили в неприкосновенности, попробовали бы его тронуть...).

С Яном мне было стыдно встретиться: он мог бы с полным правом плюнуть мне в физиономию теперь. Неделя я избегал его, но неминуемый рок, несмотря на все мои усилия, все же свел нас, спасибо, что хоть на "нейтральной земле", в "Птичнике" (я перестал ходить в "13 стульев").

— А, Володимир Красно Солнышко, и ты, сука, проданся большевикам? — сказал он, отламывая половинку от моего пирожка с ребарбаром (ревенем — раньше он себе этого никогда бы не позволил).

— Что ты, Ян Бабаян, это они сами мне продались. — А про себя думал, стерженя: "Слабо, слабо, ох как слабо, Володька! Гусь ты лапчатый, сука..."

В любой любви нужна удача, даже если это всего лишь отцовская любовь, а то будет как с моим отцом: все не вовремя, все не к месту, как будто специально старается вызвать во мне раздражение. Это к тому обстоятельству говорится, что в студенческой общаге, где я не жил, но числился, и куда иногда заходил — по любовной нужде, меня вот уже вторые сутки дожидалась фототелеграмма. "Горячо поздравляю с литературной первенкой. Пусть твое самопишущее перо и впредь будет зеленой палочкой. Твой счастливый старикашка".

— Тыфу! — невольно вырвалось у меня. Отцовская "слива" оказалась насквозь червивой, она показалась бы мне отвратительной даже в том случае, если бы я действительно "своим" рассказом сказал новое слово в русской литературе. И откуда он узнал? Не иначе, как "счастливый старикашка" — дело рук Самохина. Боже, как стыдно...

От курса к курсу мои московские наезды становились все реже и короче.

"... Уж реже солнышко блистало, короче становился день", писал отец в открытке. Ничего, он нашел прекрасный выход из положения: у него в Риге вдруг объявилась масса дел. Между делами он ходил со мной обедать и, очевидно, был страшно доволен такой компанией. Причем, я заказывал блюда, которых терпеть не мог, и все оставлял на тарелке. Эти свиданки происходили с частотой регул, и, как последние, были хоть и чертыхаемы, но все же...

Однажды я перепугался, словно забеременевшая студентка, когда два с половиной месяца от отца ничего не было. Я даже звонил в Москву, но телефон отвечал долгими, совершенно безнадежными гудками. Но стоило только мне получить от него открытку с датой приезда — прежде он таких открыток не слал, а прямо приезжал, как я — чего тоже прежде не делал — спустился в магазин, купил плакат и в перевернутом виде приколот его кнопками в "кабинете задумчивости". Плакат гласил: "Заветам отцов верны!" — салага, с солнечным бликом вполкозырька, нежно обнимает седоусого воина. Отец долго рassiживал перед этим плакатом, вероятно, не зная, что думать, и вышел красный, как пасхальное яйцо, так и не сказав ничего. Вообще на этот раз он был неразговорчив, и, наверное, все ждал, что я первый понтересуюсь, где это он пропадал столько времени.

— Ты не видел фильм "Столь долгое отсутствие"? — вдруг спросил он. Это был намек. Фильм, в котором Жорж Вильсон играл моего отца, уже десять лет как сошел с экрана.

— Нет, не видел, — ответил я.

Он мялся. Любитель краснеть, он словно любовался каким-то одному ему видимым закатом, позабыв, что багровый отсвет отнюдь не красит состарившиеся лица. Наконец к вечеру, когда мы выходили из ресторана, он сказал:

— Сынок, — слово редкое, слово — красная лампочка в минуту опасности, — сынок, мне надо с тобой поговорить...

Слышно мягкое шуршание шин по мокрому асфальту. На каменном буржуазном столбе такие же буржуазные часы показывают шесть. Но хотя "город и зажигает над ними свои огни", двум фигурам до истаивания, до растворения в собственном счастье еще очень далеко. Все очень напряженно.

— Я собираюсь жениться...

Из-за угла выехал старенький — виден след от рижского довоенного номера — автомобиль и остановился. Желтым светом горящие яблоки фар вынесены на поверхность крыльев — от удивления и ужаса вылезли из орбит.

— Ты слышишь меня?

— Да.

— Ну и что ты скажешь... как писатель?

— Ищешь приключений на свою голову. Кто она?

— Девушка. То есть женщина, молодая женщина.

— Дети?

— Нет. Но могут быть, — не понял, не понял моего вопроса, я совсем не имел в виду его грех. — Но ты, Вовочка, не думай, что это может отразиться на... моем к

тебе... Вовочка! Постой! Прошу...— Он сделал попытку меня догнать, вполне честную, хотя и безнадежную —я ведь тоже честно бежал, к тому же без скидки на его возраст и свои чувства. На что, Господи, на что рассчитывают люди, бегущие без всякой надежды догнать,— я обернулся, бедное мое сердце, как он был далеко... Что чувствуют они при этом?

Неделю я жил на взморье, в доме, где снимал летом комнату. Зимой запахи в домах устойчивей.

Кто-то знойные таблетки  
В чай подсунул мне,  
Словно в дьявольской жилетке,  
Вся душа в огне.  
Горло сушит, нету мочи  
Это все терпеть,  
Дело близится уж к ночи...

Я замечтался, не зная, что дальше. За стеной хозяин, черный, румяный Александр Михайлович Гликберг, порол сынишку, который во все время экзекуции с большим чувством исполнял песню без слов.

Значит песню петь,

— закончил я, "сложил вещи" — читатель помнит, что, убегая от отца, я размахивал большим чемоданом — и вернулся в Ригу.

После этого почтовый ящик мой оставался пуст недели две. Наступление третьей ознаменовалось получением посылки мандаринов, под которыми на самом дне лежало письмо. Это называлось: сперва покушай, деточка, а после поговорим. Думавший таким образом подсластить свое послание, преуспел больше, чем предполагал. Мандарины в дороге помялись и изрядно позолотили собой конверт и вложенный в него листок. Я же

говорил, что даже в отцовской любви ему не везло. Вот жалкие островки, которые мне удалось кое-как отыскать в океане сока:

*Вовка, чувак, привет!*

*Надеюсь, что мандаринки ты схавал с . . . . .  
. . . . .  
. . . . . должен был понимать, какое страшное оскорбление наносу тебе, говоря, что это не отразится на моем отношении к тебе. Ведь этим я как бы допускаю мысль, что тобой движут корыстные . . . . .  
. . . . . твой старый хрыч из тех людей, которые умеют признавать свои ошибки, и если надо, то и наказывать себя за . . . . .  
. . . . . дурацкая блажь. Как говорится: седина в бороду, а бес в ребро. Ты, конечно, правильно сделал, что эту дурь выбил . . . . .  
. . . . . прошвырнуть по Елисейским полям . . . . .  
. . . . . и напишешь, что тебе привезти. Ты такой еще непрактичный чувак . . . . .  
. . . . . подумать о том, чтобы напечататься в хорошем журнале . . . . .  
. . . . . переводе Устименко из киевского пединститута прямо в Москву, главным редактором журнала "Большевичка". Это большое повышение. Тут, я думаю, что твоя фамилия тебе поможет.*

*Твой папах.*

Я плакал от ярости, читая это письмо. К тому же накануне Ян сочетался с Юленькой Эскердо, дочерью испанских родителей, и не пригласил меня на свадь-

бу — она была сыграна в диетической столовой на улице Суворова (но все-таки письмо явилось для меня большим облегчением — как-никак я волновался за него).

2

В ночь на пятое января один из двух кронштейнов, крепивших тяжелый оконный карниз, вырвало. Обсыпав штукатуркой подоконник и проложив по стене глубокую борозду, карниз острым своим концом расщепил крестовину рамы, тут же с осколками стекла рухнувшую вниз, и, свесившись на улицу, заиграл на ветру тюлевой занавеской как знаменем. К утру квартиру выстудило полностью, и тюль сделался твердым, как мой отец, скончавшийся этой ночью.

Первой мыслью моего еще сонного мозга было поскорей набрать ванну и помыться, прежде чем начнется собачий холод. При этом я не уверен, что не действовал, как тот, кто пытается применить в жизни мнимую логику сна, ведь и картина, открывшаяся моим глазам: окно, карниз, исчезнувшая рама — сильно отдавала фантазиями спящего. Лежа в ванне, я блаженно созерцал, как плавают в ней мои члены, как верхушками затопленных холмов выступают колени, и чем дольше эти наблюдения продолжались, тем невероятней становилась мысль, что когда-нибудь придется встать. Усилие, которым человек заставляет себя выйти из ванны, можно сравнить только с усилием, необходимым, чтобы утром ко времени подняться с постели, разница в малом: с постели тебя гонит долг, из ванны — остывающая вода. 85 процентов человечества покидает ванну и постель не иначе, как судорожным рывком. Оставшиеся пятнадцать — грязнули и лежебоки.

Характерным вибрирующим движением — частота колебаний та же, что у отряхивающейся собаки — я вытер уши, затем придав голове вид чертополоха, не менее характерный, мне вообще на этот раз хотелось быть характерным, образцовым, поскольку насухо вытираться не в моем обыкновении — оттого-то я и перепутал традиционную последовательность, предписывающую ушами заниматься во вторую очередь, после волос. Однако по мере продвижения махровика книзу натура брала свое, энтузиазм спадал, так что носки я уже натягивал на совершенно мокрые логи, безбожно перекручивая резинки и проклиная собственные пятки.

Одевшись и надев дубленку, "теплую как печка и легкую как пушинка" — с этими словами она мне была когда-то презентована — я вышел на улицу. Мороз был — белый нос. Ржавый замок на дверях жилконторы, после того, как я его подергал, не захотел мне отдавать варежку назад. Тогда я кос-как нацарапал на клочке бумаги, воспроизведя на ней при этом весь богатейший орнамент стены, послужившей мне партой: "В 17 квартире разбито стекло и к черту высажена рама. Настоятельная просьба прислать рабочих. С уваж. (подпись). НВ Если меня не будет дома, значит я на семинаре по Научному Коммунизму". (Рассудят так: на семинары по научному коммунизму ходит не всякий, и такому субчику лучше вставить оконце).

В окружении собак и ночных сторожей я возвратился в квартиру. Как был, в пальто и в сапогах, я забрался под ватное одеяло (тулуп) и принялся ждать. Приходили коченеющие собаки, чтобы смежить мне веки.

У меня не было чувства, что я проспал долго, и вот только чертяка под рубиновой крышкой часов, когда я нащупал нужную пупочку, зажегся восьмеркой.

"А черт! — мысль о семинаре, на который я опаздывал, но который на сей раз не мог пропустить, бросила

меня к двери.— Не так уж глупо иногда спать в пальто,— подумал я. О прочем, о затвердевшем тюлевом знамени в окне, я вспомнил уже на остановке, когда со всеми дружно стучал ногой в такт январской стуже.— Через час начнет светать, через час погаснет в окнах свет, и тогда под моим окном соберется толпа".

В троллейбусе вместе со мной ехала Сильва Вилипа. Никогда не опаздывавшая, она страшно нервничала, и мне, по ее желанию постоянно приходилось нажимать на пупочку. На Сильвину беду, ее троллейбус — троллем обернулся, а следующего пришлось ждать... вот буквально до... который сейчас час? Бедная девушка! Она штудировала Маркса в надежде с его помощью выйти в люди. Зная, что ей, в отличие от меня, поверят на слово, и что ее фамилия, в отличие от моей, не попадет в черный список сонь, я полушутя-полусерьезно предложил:

— Послушай, возьми меня с собой в тот не открывший дверь троллейбус.— Она нахмурилась:

— Что, пожалуйста?

Ладно уж, сколотая Вилипа, быть тебе всю жизнь козой-дерезой, мне же быть Прометеем.

От остановки до университета она понеслась как ветер, я за ней еле поспел. Но все-таки опоздала спринтерка: в дверях, подпирая лбом дерматиновую притолоку, стоял декан Слуцков, профессиональный громил.

— Простите, у меня... у меня мама умерла. (Или мне послышалось, что она это сказала?).

Не обращая на нее внимания, Слуцков опустил мне на плечи обе свои оглобли и с минуту молча держал их так. Когда я уже сделался, по его мнению, достаточно бледным, он повернул меня, по-прежнему ничего не говоря, и повел в свой кабинет, как запряженную лошадь,— впереди себя.



"Ну вот, сейчас вручит скипетр и державу", — храбрился я, усаживаясь на предложенный мне стул, тогда как сам он остался стоять. Лакунишонок, которой здесь вовсе не место — на то есть лаборантская, стояла у шкафа, делая вид, что перебирает журналы.

— Мне звонили из ВЦСПС, этой ночью ушел из жизни ваш отец.

К моим услугам декановский графин и стакан, пей сколько влезет. Но я сделал лишь один судорожный глоток и, словно поперхнувшись, быстро поставил стакан на стол. Лакунишонок затаила дыхание.

— Он умер как солдат на своем посту, во время сощания в Кремле.

Тут Лакунишонок, перенося вес тела с одной ноги на другую, так весело выстрелила половицей, что Слуцков заорал на нее:

— Да уйдете вы уже наконец!.. Гражданская панихида назначена на два часа. Максим Эдуардович (ректор) дает вам свой автомобиль. Шофер поможет, если что надо будет... с билетами и все такое прочее.

Слуцков очень больно сдавил мне руку. У дверей он это сделал еще раз, еще больней.

Через ректорский подъезд я вышел на служебную стоянку. Завидя меня, шофер включил зажигание и стал греть мотор. Возможно, это был такой же стукач, как и вся персональная шоферня, но со мной он заговорил тоном братского сочувствия:

— Да, брат, тяжело батьку-то терять. Это уж судьба наша — родителей хоронить. Мой помер, когда я еще пацаном был. В аэропорт?

По идее я должен был прежде заскочить домой и выяснить, что с окном, возможно даже следовало оставить там ключи, но что в таком случае подумает обо мне эта добрая душа за рулем?

— Да, пожалуйста.— Гори она огнем, эта квартира.

Ехали молча, я уже было собрался напоследок подать ему пачку "Кента", как он вдруг спросил — с чисто лакейским подобострастием:

— Видать, большой человек был папаша?

В Москве меня тоже ждала машина и даже прямо у самолета. Мы еще только бежали по посадочной полосе, когда стюардесса с радостным придыханием сообщила мне:

— Вас уже ждут, быстро идите на выход. Через полчаса начинается.— Она, верно, решила, что мне будут вручать орден.

Снизу, с подножки трапа, ондатровый картуз прокричал:

— Живей в тачку, времени в обрез!

Дорогой капитан — вот уж на его счет у меня не имелось ни малейшего сомнения, ну, на худой конец, старший лейтенант — объяснил, что в пять часов министр должен улететь, оттого и спешка. Причем он с такой живостью откликнулся матком на появление впереди какого-нибудь драндулета, был так агрессивен и в то же время словоохотлив по любому поводу, что я мысленно подивился его полной неосведомленности относительно моей персоны. Тем не менее, когда мы остановились у здания "Васе есть поесть" — как я его называл в детстве, мой шофер взглянул на часы и с удовлетворением сказал:

— За двадцать минут доехали. Успеете на своего папашу посмотреть.

В фойе, время от времени приспособляемом для церемоний такого рода, стоял дух елочного базара — от бесчисленных венков, обсыпавших все вокруг своими

иголками. Невидимый оркестр играл классическую музыку. Я приподнялся на цыпочки и разглядел подбородок, нос, завалившиеся глаза — белое блюдечко лица, чуть выступающие за линию борта. Меня заметили и усадили поближе. Дали воды. Я жадно выпил — если не считать глотка из декановского стакана, я еще сегодня ничего не пил. Напротив, на треноге, стояла и смотрела на меня фотография отца. "Это был высокий мужчина нерусского вида с красивыми глазами, грустно взиравшими на мир из-под пушистых ресниц". И тут меня прорвало.

К счастью, с помощью второго стакана воды и впридачу какой-то пастилки мне быстро удалось взять себя в руки. У гроба в почетном карауле, образуя прямоугольник, стояли четыре человека, чуть покачиваясь. Один за другим сменялись ораторы. Чтобы снова не потерять над собой контроль, я сконцентрировал все внимание на трех иголках у меня под ногами. Две сросшиеся, а одна, как желтая тросточка подле двух расставленных зеленых ножек, они вместе составляли латинское N — начальную букву нашей с отцом фамилии. И вот этому игольчатому знаку я пожертвовал тот час, который отпущен был мне для последнего свидания с последним — и первым и единственным — близким мне существом.

Когда вновь заиграла музыка и прекратились дозволенные речи, меня под руки подвели к ступеньке. Собравшись с духом, я взшел на нее и в священном ужасе коснулся губами замороженного лба (это же не он! это же не он!). Затем безропотно позволил себя увлечь, сперва в какой-то угол, а после в черный автобус, куда уже к тому времени был водвинут гроб. (Говорят, что самое страшное, когда под звуки траурного марша рабочие начинают забивать крышку гвоздями — не знаю, по-моему, семья этого никогда не слышит. Зато авто-

тряска дает ей передышку перед последним испытанием).

Караул! Без меня меня кремировали — я попробовал протестовать, но мне ответили, что кремация — такова воля моего отца. Ложь! Не верю, чтобы он этого мог хотеть.

Не желают ли родственники проститься еще раз?

Все повернули головы в мою сторону. Нет, не желают. Железная пасть крематория отверзлась и, пожрав плоть выдающегося работника ВЦСПС, отрыгнула черным облаком.

Кажется переносили венки из крематория на буффорское кладбище — как потемкинскую деревню, его ничего не стоило переносить с места на место. Какая-то тетушка без умолку твердила, чтобы я всегда обращался к ней, если что понадобится. Она даже хотела забрать меня отсюда к себе, но я отговорился тем, что больше всего на свете теперь хочу остаться один. — "Но как же так, мы все сейчас едем ко мне, помянуть..." — Впрочем, она не настаивала, она меня "понимала". Благодаря ее пониманию я даже сумел бежать из этого ада раньше, чем это допускалось приличиями (но без ущерба для своей репутации).

Таксиста, нанятого все той же участливой тетенькой — она мне все-таки всучила номер своего телефона, когда передавала сверток с вещами, бывшими при папе в миг кончины — я отпустил через пятьсот метров. Мне вдруг захотелось поехать в московском автобусе, в котором вот уже полтора года как я не ездил. Потом я катался на метро, посл в пирожковой, перевел через площадь слепца, разговорился на Павелецком вокзале с длинной девицей с синих спортрейтузах и синей шапочке, из-под которой на меня смотрел с удивлением баран — баран возвращался с базы однодневного отдыха в Стропях. Еще я наблюдал краснощекую двор-

ничиху и бесщекую уборщицу — когда звонил в Ригу к одной знакомой, всего лишь на предмет разбитого окна. Покуда ссохшаяся старушонка размазывала по всей почте пастообразное месиво из опилок и грязи, ее краснощекая подруга за окном листом железа сбивала с асфальта ледок. Выйдя на улицу, я нашел Москву преображенной ранними зимними сумерками. Наполнились электрическим светом автобусы и тролли. Такой же горячий чай разлит за окнами квартир, кое-где совсем без заварки, кое-где покрепче, а кое-где даже пылает малиновый отвар абажура. Неон, прекрасный каллиграф, исписал все стены разноцветными чернилами, криптон озеленил столицу, ее улицы и лица. Под одним из его припорошенных глаз я поймал себя на том, что забыл свое горе. Это побудило меня исследовать переданный мне сверток. Сразу же о землю звякнули ключи — отличная находка, если учесть, что свои я еще минувшим летом посеял на взморье, кроме них там еще оказался бумажник с натянутыми на него крестообразно двумя браслетами: гипертоническим и часами. Рассматривающий такого рода товар под фонарем рискует: а) быть принят прохожими за карманника, б) подвергнуться нападению карманников настоящих. Я спрятал бумажник и пополз домой.

Домой. Бог весть когда я в последний раз говорил так о московской квартире, но вот стоило только хозяину испариться — не ищи его больше ни на земле, ни в земле — как вновь мой язык произнес это слово, произнес без заминки, словно рассеялись чьи-то злые чары. Но, Боже, как жаль при этом старого колдуна. (В детстве у меня была фантазия, по которой и отец, и учителя суть лишь маскарад враждебных мне сил, за моей спиной мгновенно преобразавшихся в какую-то горбоносую нежить. Не имею представления, откуда это шло

у ребенка, только уж этими страхами я не мог поделиться ни с кем).

Оставив дверь открытой, не вытирая ног, я прошелся по всем комнатам, на кухне сбросил пальто и ни с того, ни с сего уселся на маленькую скамеечку, некоторое время служившую подставкой для ног одного юного Гилельса. Как бы в память об этом в последующие годы она постоянно путалась у меня под ногами, не давая шагу ступить. Мной овладела какая-то удивительная лень: было лень встать и закрыть дверь, было лень пересесть ну хотя бы на табуретку — старую заслуженную табуретку, стоявшую на кухне, сколько я себя помнил. На столе, на расстоянии вытянутой руки лежал новенький календарь — лишь провоцируемый этой близостью, я взял его в руки, иначе и не подумал бы. Январская страничка имела каких-то пять или шесть считанных пометок — обычно такие календари исчеркивались им дочерна и к концу года превращались в сплошной муравейник черточек, точек, буковок, не поддающихся ничьей расшифровке. В гнездышках за второе и пятнадцатое, между прочим, стояло: "ДВ", и первое из этих "ДВ" было перечеркнуто красными чернилами. Правильно. Деньги Володя получил, как раз вчера. А вот пятнадцатого уже не получит, и никогда больше не получит. Потому что зарплата Володиного папы отныне будет выдаваться другому какому-то папе, хотя справедливей всего было бы, чтобы сам Володя ее и получал — как наследник выдающемуся пайщику акционерного общества "Васе есть поесть". А что, я не справился бы с этой должностью? Чепуха, я бы прекрасно разъезжал по белу свету и на всех континентах с утра до вечера доказывал, что Васе есть поесть (и Володе тоже, был бы только он у меня, этот Володя, да был бы он копия деда — вот на кого бы посыпались тогда сливы всех сортов...).

Нет, так не годится! Я встряхнулся, отнес пальто на вешалку, по-хозяйски, на крюк, запер дверь, надел домашние туфли — по праву наследования, и улегшись в его постель, как бык заревел. (Нет, откуда у человека берутся силы так долго, так дико, не своим голосом, орать? Скажи я себе теперь хоть миллион раз: нет, так не годится — это бы мало подействовало. А все из-за одной-единственной, но несноснейшей мысли: "Я — это он. И он оплакивает меня"...)

Заснул я нескоро, совершенно измученный, и то, лишь проглотив снотворное, приготовленное им для меня на своем ночном столике.

3

Я не знаю, который был час, когда зазвонил телефон. Всеми своими рефлексами принадлежа к Риге, я бросился было в прихожую, куда в ночном беспамятстве мой мозг поместил эту черную цикаду — и, понятно, не нашел бы ни цикады, ни прихожей — прихожая, в московских-то новостройках — не подставь мне какой-то столик ножку впотьмах. Непроизвольный взмах руки, и в ней, словно выхваченная из небытия, пищит человеческим голосом трубка:

— Говорите с Ригой. (Ну да, правильно, с кем же еще мне говорить?)

— Алло, это ты? Ты меня слышишь?

— Да, да. Что случилось? — Тихо. "Давай никогда не ссориться" играет у телефонисток. — Ах, говори же наконец, что произошло?

— Ничего. Приезжай.

Сон отнесло в сторону, как лодку приливом.

— Но что? Что? Ты мне можешь сказать?

Молчание на рижском конце. "Пусть сердце сердцу откроется".

— Прилетай, сегодня же, первым рейсом. Я буду в аэропорту.

— Ну, хорошо, милая, хорошо. Я прилечу. Но умоляю, что такое?

— Меня любишь?

— Ах, о чем ты спрашиваешь...

— Я была в консультации. У меня, кажется, будет... нет, прилетай, слышишь? Я должна тебя видеть. Я уже сейчас в аэропорту. Я вся изошлась без тебя, моя любовь, моя жизнь...

Третий человек, клинышком языка:

— Закончили.

— Слышишь, я жду...

Зуммер.

Черт, что на нее нашло? Я же сегодня с ней говорил. Как понимать "вся исходилась" — неужели сама ходила искать рабочих? Ей же только проследить надо было, все остальное жилконто...ра...

Моя рука скользнула по стене и нащупала выключатель — и тут же скользнула по ослепшим глазам, лбу, волосам — жест пробуждения. Цццарь небесный, это же не была она... Это же не была она!!! Я думаю, гримас пять сменило лицо мое: восторг открытия, ужас открытия, стыд открытия, боль открытия, и итоговая гримаса, столь ужасная, что на лицо опускается растопыренное — в десять пальцев — забрало. Только что кто-то разговаривал с папой и теперь ожидает его в рижском аэропорту.

— Да, — заговорил я вслух. — Да, в момент сей в рижском аэропорту сидит женщина... и, может быть, на том же месте, где вчера сидел ты...

О, если на том же месте, то она не может не видеть симпатичного старичка на стене — доброжелательностью готового спорить с латышскими рестораторами — который указывает вам (сразу всем) свободный столик.



Надпись при данных обстоятельствах глубоко символическая: старичок и сейчас живет всех живых.

"Значит это была правда, когда он говорил, что у него дела в Риге. А ты думал, что ты — его единственное дело. Как он бежал за тобой тогда... (А мысленно: с каким лицом он пришел к ней тогда...)"

Воспользовавшись приливом, Робинзон окончательно вывел из строя отнесенную сном лодку пиратов — пробил ее и пустил ко дну: вторую ночь уже "я" и "спать" были понятиями взаимоисключающими. Не зная, куда себя деть, я потащился в комнату, считавшуюся раньше моей комнатой. Дерматиновый лист на письменном столе до сих пор хранил на себе следы детского томления — следы того, как в него вдруг начало вонзаться стянутое фиолетовой пленкой перышко. В одном из отделений я обнаружил нелегально привезенную когда-то книжку — вклад в российскую словесность какого-то состарившегося на чужбине корнета. Брошенная мною в стол, она так и пролежала там все это время. Я раскрыл наугад и прочитал: "Рождество", издал горькое "хм".

*"Вернувшись по вечеряющимъ снѣгамъ изъ села въ свою мызу, Слѣпцовъ сѣлъ въ уголь, на низкій плюшевый стулъ, на которомъ онъ не сживалъ никогда. Такъ бываетъ послѣ большихъ несчастій".*

Что ж, бывает. Я продолжал чтение. После слов: "Съ мебелью — то же самое. Во всякой комнатѣ, даже очень уютной и до смешного маленькой, есть нежилой уголь. Именно въ такой уголь и сѣлъ Слѣпцовъ". Моя ирония сама собой как-то исчезла, уступив место мистическому предвкушению, что если так пойдет и дальше, то на следующей странице непременно появится чей-то умерший отец. Но произошло еще жутче, еще пронзительней. Совпадение было не чистым, механическим, но таким, что удар, мне нанесен-

ный, исключал начисто даже самое слово "совпадение", допуская одну возможность: в стане моей души действовал лазутчик. На следующей странице я — это уже был он, и он оплакивал своего сына. От *выстрела* *половицы* я слегка вздрогнул, но более уже ничто не нарушало моего ледяного спокойствия, скорее, впрочем, походившего на оцепенение. С холодной кровью прочитал я, как умер сынок, совсем недавно — радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке — прочитал, как, ослепленный сияющим снегом и слезами, Слепцов перевез гроб в деревню — удивительно, что он еще мог жить, мог чувствовать при этом. Я читал о трескучем морозе, в минуту превращавшем в сосулю слезу, об обжигающей, даже сквозь шерсть варежки, чугунной ограде вокруг белого склепа. (А ты! Почему ты позволил, чтоб меня кремировали!) О лете, читал, ушедшем и теперь хранившем под снегом бесчисленные следы его быстрых сандалей (сказано: *сандалий*). Также ничего еще не случилось, когда вечером отец вошел в мою комнату и сел у голого письменного стола. И, даже перебирая тетради и глядя на крупный индийский кокон в коробке из-под английских бисквитов, я по-прежнему оставался недвижим — это о нем сын вспоминал, когда болел — жалел, что оставил на даче, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая (нашел я также и расправилки, и порванный сачок — от кисеи пахло летом, травяным зноем). А затем наступила ночь. Тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Бедный отец, под мышкой в деревянном ящике я переносу вещи сына в свою затопленную комнату из его, выстуженной. Иван хочет поставить елку на стол: "*Праздничек завтра*". "*Не надо, убери*". Но Иван мягко настаивает: "*Зеленая, пускай постоит*". "*Пожалуйста, убери*" — не мог больше ви-

деть, как осыпаются сросшиеся зеленые ножки, а рядом ложатся желтые тросточки, сплетаясь в наш с ним фамильный вензель N. И когда в тетрадке среди названий пойманных бабочек прочитал: *"Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал нарочно два раза мимо ее дома, но ее не видел"*, то и тогда еще ничего не произошло. *"Ездил, как всегда на велосипеде"*, стояло дальше. *"Мы почти (почти, Господи...) переглянулись. Моя прелесть, моя радость"*.

— Это немислимо,— прошептал Слепцов.— Я ведь никогда не узнаю...

*"Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Я ужасно тоскую..."*

— Он ничего не говорил мне,— вспоминал слепец. (А он, разве мне он говорил что-нибудь?!).

Все часы в квартире стояли. Моя рубиновая игрушка валялась где-то в спальне и там себе неслышно тикала. Узор на стекле, кроме того, чем он был в действительности, мог еще быть: спрессованными опилками, зарубцевавшимся ожогом, родом пластмассы — тонкой, но всегда по праздничному нарядной, рельефом глазного дна окаменевшего чудовища — по-прежнему великолепным поставщиком метафор остается дендрарий, но это уже слишком ходовой товар — и, наконец, местом, к которому в трамвае прикладывается пятак и держится до образования маленького иллюминатора: каков он, Божий свет, какими чудесами полнится (но для той, в аэропорту, уже никакие чудеса невозможны).

И в то же мгновение щелкнуло что-то — тонкий звук — как будто лопнула натянутая резина.

Слепцов видит:

*...въ бисквитной коробкѣ торчитъ прорванный конѣ, а по стень, надъ столомъ, быстро ползетъ вверхъ черное сморщенное существо величиной съ*

*мышь. Оно остановилось, выпившись шестью черными мохнатыми лапками въ стѣну, и стало трепетать. Оно выдурилось оттого, что изнемогающій отъ горя человекъ перенесъ жестяную коробку къ себѣ, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугой шелкъ кокона проникло тепло, оно такъ долго ожидало этого, такъ напряженно набиралось силъ...*

Я уже не мог продолжать чтения. Запрокинул назад, через спинку стула, голову и носом тяжело вздохнул. Слезы застыли на щеках, не зная, куда им теперь катиться. Эта минута решила все. Я ощутил, что тот царственный миг, к которому я готовил себя всю жизнь, в наступление которого так свято верил, настал. Я больше не был один в комнате. Некто, взыскающий людям за их неколебимую веру, уже стоял здесь, сложив крылья. Почти нечеловеческое счастье наполнило меня. Но вот к этой эмфиземе прибавилась низкая проза: а что же я, собственно, читаю? Название книги, едва проступавшее двойной белой нитью сквозь черный глянец обложки, было устрашающе знакомым — ну конечно же, старый знакомый, Лева Шейнин, там возвращение Графа, здесь возвращение какого-то другого жигана. Как бы смахнув эту случайную нитку, я впился глазами в имя автора. Слышал ли я его раньше? О! Выхваченное лупой из белой бисерной строки диафильма, оно всегда сулило мне исполнение желаний, хотя и придавало иной, совсем иной оборот папиным словам: "Твоя фамилия тебе поможет".

Я быстрыми шагами заходил по комнате: я могу обеспечить их таким капиталом — папины слова, какой ему и во сне не снился. Я сделаю их пророческими. Вы хотели сжечь его душу, так вот, получайте — я сохраняю ее навечно. Со времен древних курганов еще не писалось ничего лучшего на гробницу отца. Приам не

лобызал слаще ног Ахилла, и жарче не была доха, которой он укутал своего Гектора. Это будет родник, забивший из чернильницы безвестного корнета. Безвестный корнет, где он теперь... Но где бы он ни был, уж я его тоже не обездолю. Мог ли он при всей своей пылкой фантазии — а как пылка она, это я знаю — допустить хоть на мгновение, что в черной красной России вдруг в полный голос, многотысячным тиражом, грянет его имя. Да, именно грянет. Эта фантастическая жемчужина, этот рассказ, он будет напечатан здесь — о, я не дам ему согнуться в безвременье. Папочка... Господи... Этим я вымолю себе прощенье...

Я задохнулся. Листы! У меня в столе еще с тех далеких пор должны лежать чистые листы. Если б здесь стояла моя "оптима"... Тогда все было бы закончено в два счета. (Конечно, на что ему была пишущая машинка? Референт сочинит, референт настроит).

Переписывать в жару (сердца, м.р.) и в то же время делать это красиво — невозможно. Не имея средств к остужению первого и терпя сильную нужду во втором, я из всех своих почерков избрал самый ранний, вязь, сиречь печатные буквы, писать которыми научился еще на пятом году жизни. Труд переписчика скучен, главное в нем не пропускать буквы и не повторять дважды слова. Обычное вознаграждение: поцелуй директора, если ты его секретарша, или же радость совершения, если ты работаешь на себя. Как следствие: простата, геморрой, писчий спазм, и т. д. и т. д. Переписчик об этом знает и независимо от видов выполняемой работы всегда недоволен, всегда в плохих отношениях с текстом, который, по его мнению, всегда слишком длинен, и хочет только одного — поскорее кончить.

Я кончил к утру (к этому времени первый самолет уже приземлился в Риге, и я малодушно выдернул штекер). Предстояло теперь каким-то образом связаться с

Устименко, объяснить кто я такой, но — от скольких неудобств становишься сразу избавлен, если имеешь связи в высших сферах, и сама судьба тебе покровительствует, — тогда, минуя бюрократические рогатки, расставляемые ее же служками, ты, как по благу, прямо попадаешь на прием к нужному тебе лицу, и лицо это, как явствует из дальнейшего, любезно с тобой. Короче говоря, одеваясь, я выронил из кармана бумажку, на которой от руки было написано: Екатерина Петровна Устименко, рабочий телефон, домашний телефон. Судьба не любит робких фаворитов, я позвонил прямо домой. Екатерина Петровна не заставила долго упрашивать себя о встрече. "Я спешу в редакцию, — сказала она. — Приходите ко мне, прямо в мой кабинет. Адрес такой-то".

Знаете, корнет корнетом, а я вдруг совершенно позабыл о нем, и сердце у меня забилося, как будто это был мой рассказ. Как знать...

Для большей вероятности успеха затеваемого дела я суеверно переоделся во все папино, даже белье надел его. На улице была прелесть. Недавно взошедшее солнце подернуто морозной пленкой. Желтовато-сизые небеса, мутные, как листовое стекло в колчане у стекольщика, оседают на землю тем особенным маревом, какое возможно лишь при минус двадцати пяти. Прохожие быстро перебегают из одного продовольственного подвального в другой, точно такой же. Кафтаны их черны. Дворничиха подбирает и кладет в свое железное лукошко замерзшую ворону с перебитым крылом. Милиционер — под бесчувственным носом сопля. Еврей-снабженец в бедном пиджачишке поверх фуфайки и в бобровой шапке — Палосич — выглянул и спрятался. А через минуту со двора выкатил крытый брезентом грузовик. В марте какое-то черноокое племя начнет продавать мимозу. Вдоль поребрика медленно катится

картофелина. И я — проплываю среди всего этого в такси с рукописью на коленях. Прелесть что за утро.

Журнал "Большевичка" расположился в старинном доме на членистоногом московском бульваре. Это был старый антилитературный журнал, несколько раз менявший свое название — в последний раз в сорок восьмом году, когда состругали всю редакцию. В отдельные периоды его существования антихудожественные публикации подменялись публикациями ахудожественными, и тогда считалось, что журнал вступил в полосу расцвета. В настоящий момент он как раз находился на переходной стадии между этими двумя состояниями.

В кабинет главного редактора можно было проникнуть двумя путями, через приемную, украшенную надписью: "Секретарь главного редактора ГР. ПОМЕНЯЙТЕ" — поменяйте ударение с "я" на первое "е" и все будет в порядке — и через другую, соседнюю с ней комнату с табличкой "Ответственный секретарь редакции ГР. ГОРЕЛОВ". Принимая во внимание всю ответственность предстоящего шага, я предпочел воспользоваться второй дверью. Тщедушный человечек в синих нарукавниках, выслушав меня, молча поднялся из-за стола и просунул голову в низкую дверь в глубокой нише. Затем с той же невозмутимостью вернулся на свое место, но дверь оставил открытой. Я вошел.

Ах, какой это был бедный сиротка! Ах, какие слезные вздохи обрушились на меня, едва только я переступил порог кабинета Екатерины Петровны.

— Сейчас, одну минуточку, словечко секретарше... Гражина, я занята! — и к другой двери — Горелыч, меня нет! Так что, так что, мой дорогой бедный друг! Садитесь же! — Она схватила меня за руку, подвела к кожаному дивану, уселась сама и усадила меня. Это была типичная, хоть и прибарахлившаяся, партийная дама,

сентиментальная и в молодости, надо полагать, крепко сбитая.

— Екатерина Петровна, — начал я, — вы так добры ко мне, мне даже неудобно как-то... — Следует взаимное пататипатата, после чего я говорю: — Всю эту ночь я не спал, — кивает, — и к утру у меня созрел замысел рассказа — кивать перестала, — который был мною тут же перенесен на бумагу... Я работал как одержимый, вот... — Моя легонько постучал пальцем по рукописи, которую моя на манер старинной грамоты свернул в трубку. Немая сцена. По завершении ее Екатерина Петровна выдавливая: — Да... что вы говорите. — Не отступать ей совершенно невозможно. Моя уже протягивал рукопись — так бывает, когда опрометчиво дашь на курорте свой адрес какому-нибудь колхидцу, а тот, глядишь, приезжает: — Моя хотэл Москва видэд, принимай госд. Взяла Екатерина Петровна рукопись, пересела за стол, поправила очки и стала читать. На второй минуте она спросила: — Вы когда-нибудь раньше печатались? — Вопрос традиционно-лестный для автора, который, впрочем, в таких случаях делает вид, что настолько наивен, что не понимает его истинного значения.

— Нет... то есть один раз, миниатюру, в студенческой газете...

Екатерина Петровна продолжает читать. Иногда по ходу чтения она восклицает: "Это мы оставим", или "Ну, уж это положим..."

Что значит "оставим"? — испугался я. — Неужели фефела несчастная, она думает, что я позволю ей изменить хотя бы одно слово... Нет, дудки. Я уже раз смалодушничал, дал искромсать свой рассказ. Хватит. Никаких изменений в тексте. Так и скажу: или — или.

Между тем она кончила читать и молчала. Не знаю, о чем уж она там думала, но только когда она извлекла



из рукава огромный, величиной с косынку, платок и сморкнулась в него — Василиса Прекрасная — я испытал к ней даже нечто вроде признательности. Незаслуженной, разумеется.

— Ну вот, старая дура, вспомнила я вашего папу и... вы с ним так похожи. Она зацепилась за зубы губами, словно в них была продета резинка — так туго, что белый хрящик выступил на носу.— Ну хорошо,— сказала она, как бы пробуждаясь от недостойного ее звания сна.— Я прочитала ваш рассказ, что я вам могу сказать...— Я гордо взметнул голову.— Он мог бы получиться неплохо. Да. Можно смело сказать, что вы продолжаете купринскую традицию в русской прозе. Традицию оч-чень честную и оч-чень хорошую. Временами ваш язык становится на редкость образным, на редкость сильным. Много находок. Например, где вы пишете про лошадь, как там у вас... на морозе лошадь туго хлопала селезенкой... Туго хлопала селезенкой — это великолепно. Так и хочется, чтобы ее вел под уздцы красноармеец... ну ладно, от вас никто не требует писать о красноармейцах, о красноармейцах, какими я их помню и знаю. Но скажите, что побудило вас, молодого человека, внука, можно сказать, революции, без всякой видимой причины — и невидимой тоже! (красный дух ее распался) поместить своих героев, то есть своего героя, в абсолютно чуждую и ему и вам социальную среду? Вы посмотрите, что вы делаете — берете и переносите действие рассказа в бог знает какие времена, даете ему поповское название и в таком виде несете в советское издательство. Вы что, не чувствуете во всем этом фальши... какой-то... — она запнулась.

Воспользовавшись этим, я подошел к столу и положил руку на рукопись. Сердце в груди отчаянно билось. Терять было нечего все равно, воспоминание об ангеле,

посетившем меня ночью, истерлось в памяти неполне. И я сказал:

— Екатерина Петровна, по всей видимости, произошла ошибка. Я шел не в издательство, советское, как вы сказали, как будто существуют еще какие-то другие издательства, а шел к вам — женщине, которая, как мне казалось, способна п о н я т ь мое состояние. Участие, проявленное вами вчера, чуткость, а главное — п о н и м а н и е того, что больше всего надо человеку в такую минуту, было для меня... (шмыгнул носом). И когда этой ночью — а это была ужасная ночь, поверьте, среди папиных вещей, в пустой квартире — когда этой ночью я понял, что должен написать этот рассказ, иначе не знаю что будет, меня разорвет, то ни о чем таком, о чем вы сейчас говорили, я даже не думал. Просто мне необходимо было излить себя, этот образ — ослепший от горя отец — вдруг явился ко мне так явственно, будто это был я сам. Мне даже ничего не пришлось сочинять. Это было какое-то наваждение, готовый текст, застрявший в моем мозгу, который надо было непременно и как можно скорей извлечь оттуда... что я и сделал, и с этим поспешил к вам. Что ж, вы преподали мне хороший урок. Более сухой, более чиновничьей, а главное, в такой мере лишенной какого бы то ни было п о н и м а н и я речи я еще не слышал... С таким же успехом вы могли бы обратиться к истукану. Только... я не верю вам такой... ничего непонимающей. Я видел слезы на ваших глазах, когда вы это читали. А потом вдруг все исчезло. Вам вдруг показалось, что перед вами идеологический диверсант, который — о, ужас! — человеческое горе выносит за рамки производственных, социальных и прочих отношений. Конечно, было б лучше, если б я сделал Слепцова замминистра путей сообщения, решившего похоронить своего сына умершего, конечно же, от несчастного случая, с де-

тской смертностью у нас покончено — на приусадебном участке персональной дачи. И чтобы при этом слуга превратился в личного шофера, а сочельник — в Первое мая. Да для меня самое малое изменение в этом тексте явилось бы предательством в отношении моих чувств к отцу, в отношении всего пережитого мною в эту ночь. Есть же в жизни хоть что-то, что построено на чувстве, куда вносить расчет — это, извините, низко, подло. — Я взял листы движением человека, собравшегося уходить.

— Пойдите же! — воскликнула Екатерина Петровна, ловя мою руку через весь стол. — Вы взволнованы, вы должны успокоиться. Возможно, я была неправа в чем-то, возможно, не так с вами говорила. Давайте еще раз все спокойно обдумаем, давайте ваш рассказ. — Она взяла верхнюю страницу, последнюю в тексте, и стала ее перечитывать. — Ну вот, у вас тут и бог, да еще с большой буквы, честное слово, где это вас так учили... но за этим ворчанием уже чувствовалось, и я вдруг понял это к своей безмерной радости, что я победил. Она еще о чем-то заикнулась, речь, видите ли хромает: "расправилки" ("Так в детском саду могут говорить, писатель же должен знать предмет, о котором пишет, вас же юннаты на смех подымут..."), и вдруг как хлопнет по столу двумя ладонями сразу: — Ну, хорошо, посмотрим на это с другой стороны. Общая идея: смерть отступает, жизнь оказывается сильнее. При этом никакой поповщины. Жизнь как категория чисто биологическая. Мыза? Помещик? Это можно трактовать как попытку в первую очередь выявить общенациональное в характере героя... Обратное же: желание заставить героя действовать в классической для русской литературы среде. Чехов, Куприн. Воскресают перед взором полотна передвижников. Хорошо, ладно, мы это напечатаем. В конце концов... Кстати, — спросила она, уже

держа в пальцах нижний первый лист,— вы хотите, чтобы ваша фамилия была изменена, как у вас здесь, в рукописи?

— Да, это непременно. Строго говоря, это даже нельзя считать изменением фамилии, а скорее — уточнением национальной принадлежности.

— Нет, ради бога, это ваше право. По-моему, ваш папа, когда вы были маленький, даже сам собирался добавить окончание... Горелыч!

В дверь просунулась склоненная набок голова и плечо.

— Горелыч, посмотрите, вот это,— ткнула пальцем в мой рассказ,— идет во второй номер. Гакова и Кин немножко потесним... Да, познакомьтесь, наш новый автор, Владимир Набоков.

4

История, которую я хотел рассказать, подходит к концу. Второй номер "Большевички" вышел в срок, и пятого февраля я уже увидел его на прилавках книжных магазинов. Рассказ "Рождество" занимал шестнадцатую, семнадцатую и половину восемнадцатой страницы. Генерал-майор авиации Гаков ("История одной тренировки") и Цецилия Кин со своим "Сном Пассионарии" расположились по обе стороны от него как два шафера.

Вечером того же дня, когда я выходил из булочной, ко мне подошел человек и проговорил быстрым шепотом:

— Поздравляю. Вы совершили невозможное. Это великий день.

Он сразу же убежал, только пожал мне руку; собственно, как такового, пожатия не получилось: он не попал в мою ладонь, а я, от неожиданности, схватил его

за кисть, потянув за нарукавник, почему-то не снятый им после работы и торчавший из рукава пальто.

Изъятие второго номера "Большевички" из магазинов и библиотек началось только через пять дней, когда большая часть тиража уже разошлась по рукам. Я хотел удрать в Ригу, но не успел и вынужден был испить всю уготованную мне чашу до дна. Впрочем, меня пощадили, лишь велели убираться из Москвы куда глаза глядят.

Устименко выложила на стол свой партбилет. ("Простите, Екатерина Петровна", сказал я ей во время нашей очной ставки.— "Я бы таких вешала",— ответила Екатерина Петровна).

Спустя несколько месяцев в Риге, в роддоме на Московской улице родился один ребеночек. Мы зарегистрировали наш брак с его матерью и живем в мире и любви. Ни одна душа на свете, включая ищеек из ГБ, не подозревает, кем на самом деле доводится мне этот маленький.

Раз, уже совсем недавно, гуляя с ним по Межа-парку, я повстречал Яна Бабаяна-Эскердо со своим маленьким бабаянчиком. Мы разговорились.

— А знаешь, Ян, кто это — Набоков, из-за которого меня постигла кара богов? — спросил я.

С секунду подумав, Ян сказал: — Конечно. Набоков — это псевдоним знаменитого писателя Сирина, убитого в двадцатые годы в Берлине русскими фашистами.

*Май 1977 года*

*Журнал "Время и мы" N20, сентябрь 1977г*

*Ольга Мартынова*

## ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

1

Даль воздуха и солнце сентября —  
Зимы полынной золотое семя.  
Деревья устремили якоря  
В прохладные и полые моря,  
Где желтым клювом полыхает время.

Как я вхожу в дома. Здесь в сентябре  
Какими меня потчуют дарами.  
Как в яблока зеленой коже  
Железный аромат ловлю ноздрями...  
И наконец почти что навязав  
Себе небытие и изобилье —  
На времени распластанные крылья  
Гляжу, как на Иакова Исав.

1983

2

## КОРАБЛЬ

Он, корабль, не ждал ветра,—  
Ждал, пока расправили парус;

---

© Ольга Мартынова, 1991

И вышел в ясное море,  
В море крылья ударили весел.

А когда и не только ветер,  
Но птицы морские умолкли,  
Время уселось на мачту,  
Желтый разинув клюв.

1983

\* \* \*

Сердце воротим на место,  
В дом меж ребрышек верхами,  
Где пресветлая невеста,  
Где субботнее дыханье —  
Все сохранно для него.  
— Что же кроме?  
— Ничего.

Сердце, дышащий замочек,  
Сам себя замкнувший, что ты  
Неба отчего сыночек,  
Не падешь к ногам субботы?  
Что принес ты к нам на двор?  
Только ль горе и позор?  
Только ль нищенку судьбу?  
Только ль...

1983

\* \* \*

Какая-нибудь буква над бумагой  
Зависнет вдруг. (Смотри, пчела над розой!)  
И веет от нее такой отвагой,  
И смысл в ней не кажется занозой;  
Весь мир — от первой судороги древесной  
До дрожи звезд — счастливая разгадка,  
А сердце в нише огненной и тесной —  
Как меж страниц текучая закладка.

1986

\* \* \*

*В. Ш.*

Сюда, сквозь расщелины в масляной ночи  
С востока взирают закрытые очи  
Немилых Украине равнин;  
А с Севера смотрят летящие козы,  
Любовники держат увядшие розы,  
Как будто, из пламени вынув

Горящую скрипку, скроённый из праха,  
Из неги субботней, из вешего страха  
Стоит цепенеющий Кто-то,  
А южное небо в таинственных знаках,  
И кровь неотмщенная плещется в маках,  
И тянется мертвая нота.

И здесь в этом страшном ее клокотаньи  
Веселые тени козацкой Украины,  
Андрий со своею изменой,



Пузастые дети, глазастые вишни,  
Турецкий султан, и лиловый Куинджи,  
И Гоголь — один во вселенной;

Здесь дурень, что бросил беленую хату,  
И черный бунчук богоданного ката,  
И череп коня со змеею;  
И ветер отравленный тихо колышет  
Ковыль, и очами печальными вышит  
Правоздух над этой землею.

Украина! твои москали и поляки,  
Жида и татаре — лишь вечные знаки —  
Сойдутся для детского плача  
По той первобытной отчизне-чужбине,  
Что в белых садах затерялась, огненные  
Ни жизни, ни смерти не знача.

1990

## ВСТРЕЧА

В парке музыка играла,  
Теплый воздух был душистым,  
Я кого-то повстречала,  
Кто казался слишком частым  
Гостем наших вечеров.  
Он сказал: Земля простыла,  
Как кровь ее не омывала,—  
И странно поглядел уныло.  
Да что ты, — я ему сказала,—  
Земля кипит, кипит в крови,  
Не говори, что крови мало  
Для состраданья и любви.

Но он заплакал, он заплакал,  
Лицо капризное закрыл,  
И снова по земле горячей  
Простылой тенью уходил.  
Цвела черемуха в овраге,  
И были красными цветы,  
Как будто бы вино из фляги  
Вдруг выплеснули на кусты.

1988

\* \* \*

Разъялась сфера, и мрак небесный  
Дождем серебряным пролился,  
И под клокочущей этой бездной  
Спасть нельзя и погибнуть нельзя.  
Стремятся звери, клекочут птицы,  
Встекают рыбы в небесный пруд;  
А эти жалкие колесницы  
Не рушатся, но и вверх не идут.  
Врастают травы, по стеблям диким  
Бегут счастливые муравьи;  
Всяк малый кажется здесь великим,  
Оглядываясь на земные труды свои.  
Вместила Роза весь сад небесный,  
И всяка тварь притекла туда;  
А у подножия чаши тесной  
Безумные строятся города.

1988

\*\*\*

*Сусанне Гишович*

Полированных ягод европейская ночь,  
Скажи, что мне вспомнится через тысячу лет?  
Кто мне сможет ответить? Кто мне сможет помочь  
Разобрать этот сумеречный свет?

Мне не ведом язык этих несимметричных домов,  
Я не знаю, о чем говорят они по ночам,  
Будто шелест сафьяновый пахнущих кровью томов,  
Будто холод, пробегающий иногда по плечам.

Я не знаю, что нужно мне в этой немиллой земле,  
Я не знаю, зачем так пленяет ее красота,  
Я не знаю, что окажется завтра у меня на столе,  
Тот же шелест бумаги, та же ли пустота?

*1990, Ганновер*

\*\*\*

Ночь разоблачает все предметы.  
Раздетые дома и тени в переулке,  
Грузовики и липы на бульварах —  
Спят под дождем. В их лицах черно-белых  
Недоуменье, недовольство: где приметы  
Их тихой жизни? явь или обман  
Их новый вид? Но четки и подробны  
На них вдруг проступают письмена.  
Ночь движется, собой освещена.  
И можно до предутреннего света  
Зубрить миропорядка алфавит:

То знак мелькнет в невыключенных фарах,  
То в чьем-то шепоте, то в чьей-то злой  
прогулке,

Бог знает в чем еще, пока горит  
Черный экран.

День одевает эту наготу,  
Но прячет знаки в яркие ячейки.  
Язык уходит в неразъемный лепет.  
И сидя на бульваре на скамейке  
Вы зря стараетесь хотя бы вспомнить ту  
(Избывшуюся в каблучках дождя,  
Ни слова не сказавши, уходя)  
Ночь, что ушла, небрежно захватив  
Миропорядка стертый негатив.

1991

\* \* \*

*...Еще у меня есть претензия,  
что я не ковер, не гортензия...*

*А. Введенский*

!

Природа мне несет  
Ей ведомую весть,  
Ей ведомую, но  
Рожденную не ею,  
А для меня ее  
Значение темно,  
Ее простой язык  
Я изучить не смею.

Весенний черный снег, оживший в черных лужах,  
Прожилки на крыле любого комара,  
Гусь, тормозящий, как на водных лыжах,  
Любого пня трухлявая кора

Об этом говорят. В этрусских этих знаках  
Еще хранится типографский запах,  
Но горсть наборного свинца не говорит,  
Что за узор она в себе хранит.

Быть может, эта весть напрасна и страшна,  
Хоть блазнит в ней подобие покоя...

И те, кому она была на миг ясна,

На век венчаются со смертною тоскою.

А может все не так, и в воздухе раскисли  
(Как дрожжи облаков) разрозненные мысли  
Тех, кто не заглянул еще за эту грань,  
И ни о чем таком не говорит герань.  
Но что-то говорит природа, что-то есть,  
Волнующее, как единственная весть.

2

Жаркий щебет на бульваре.  
Шерстяным теплом согрет  
Блеклый день. И к каждой твари  
Льется сумеречный свет.  
С некрасивых колоколен  
Наковальный звон упал;  
Мир пустынен и околен,  
И своим добром завален,  
И в другую жизнь влюблен,  
И от этого устал,  
И о чем-то знает он:  
Лучше быть ему бродягой,  
 Попрошайкой, бедолагой,  
 Неказистым воробьем...

Человек живет вдвоем  
С этим нежным и опасным  
Миром, щедрым и напрасным;  
Заглянув за окоем,  
Разорвав золотые нити,  
Ускользнув сквозь эти сети,  
Он бы снова увидел  
Золотые ворота.  
Тот же голос бы сказал:  
"Проходите, проходите,  
Проходите, господа!"

*1991*

## СТИХИ

\* \* \*

Бычи лица бабочек ночных  
Нам напоминают об иных  
Сферах, не замеченных в начале  
Нашей жизни. Их мы замечали  
Лишь тогда, когда живая мгла  
Вызрела, сгустилась и смогла  
Быть знакомой с нашими очами.

1985

## ДВА ГОЛОСА

— На синий свет ночных болот  
Я шел к тебе, болиголов.  
Я знал, что ты живой.  
Ты в сердце прорастал моем,  
И я, как в лестничный проем,  
Летел на голос твой.

— Я никаких не знаю слов.  
Болит моя немая кровь.  
Я тяжело дышу.

Я чадо дикое травы,  
И свет безмолвной головы  
Я тяжело ношу.

— Когда бы ты была не ты,  
Когда б лакуны немоты  
Не пестовали речь,  
Когда бы в страшной тишине  
Твой голос не бежал ко мне,  
Я б мог тебя сберечь.

— Дурманную, земную тварь,  
Меня хранит болотный царь  
Средь страха и беды.  
Тебе ж отсюда нет пути,  
Тебе уж с места не сойти!  
Темны твои следы...

1990

\* \* \*

Д. З.

Белых ягод, которых название  
ни тебе неизвестно, ни мне,  
все мерещится мне содроганье  
в тишине.

Средь великого льда, в годовалой  
снежной нише, в фонарном дыму,  
все, что болью еще не бывало, —  
я приму.



Я найду их на взгорьях ли, в чаще  
москворецких зимовий земных,  
с тонкосердою плотью, звучащей  
в мертвых них,

их веселье, тщету и отвагу  
быть живыми в трущобе зимы,  
по отлогу бежать, по оврагу, —  
словно мы, —

по внезапному следу, по снегу,  
по ступенькам, по лестничке — шашь! —  
распахнуть эту дверь — и с разбегу —  
в ноги пасть!

1990

\* \* \*

Плачь, цикада сентябрьская, плачь.  
Наше время кончается вскачь —  
Ничего ему нету.  
На замерзшем, на голом цветке,  
Содрогнувшись в прощальном кивке,  
Канешь в снежную Лету.

Так изгнанник родимой зимы,  
Уходя, обернется из тьмы,  
Превращаясь в подобье  
Насекомого звона, волной  
Пролетевшего над глубиной  
Травяного надгробья.

Только рек сиротеющих стон  
Над детьми, выходящими вон  
Без единого слова.  
И уже никогда ... наяву  
Им, в глубокую павшим траву,  
Не сказать его снова.

Здесь уже не дышать никогда.  
Вниз лицом замирает вода,  
И у твари последней  
Под ногами взовьется земля,  
Всею кровью своей шевеля,  
Погребая наш след в ней.

1990

\* \* \*

Двери закрою холодного дома,  
Выброшу ключ в траву.  
Может, блеснет он кому другому,  
Спящему наяву.

Мне ж и во сне своем некуда деться,  
Не утаиться мне  
От очсвидца, от совладельца,  
Зрящего свет в окне.

Только и быть, что во сне постороннем,  
Пасмурном сне чужом  
Светом померкшим, ласм вороньим,  
Вечноживым дождем.

1990

## ПО СТАРОЙ ПАМЯТИ

По старой памяти, то выскальзывающей  
из оболочки своей,  
то вянущей, высыхающей,  
теряющей вес,  
то вдоль души расходящейся,  
как по степи сухой,  
по своей умирающей памяти  
ты снова здесь.

И ты варишь кофе  
в маленькой кофеварке.  
и он убегает  
под неверной твоею рукой.

Это все твоей памяти  
пятна, метки, пометки,  
внезапный ветер над озером,  
заросшим душиной кугой.

И стоит в груди твоей озеро,  
и тебе не дает свободы,  
и частое твое дыханье  
повторяет его волну,  
и в глазах твоих движутся  
его полночные воды,  
и тихие листья светятся,  
падая на глубину.

По старой памяти, линияющей,  
меняющей сотысячную из шкур,  
что на царевнину, нежную  
не сменить, не смочь, не посметь,  
ты все еще силишься вспомнить,  
что ты забыть рискнул?

Что нашло в твоей памяти  
эту немую смерть?

1988

### ЛИЦОМ В ТРАВУ

Любовь безответная, впрочем,  
не слишком большое геройство.  
Но взгляд обретает иные,  
еще незнакомые свойства.  
И зреньем горячим, текучим  
я видела рыльца и чаши  
цветов, чьи каемки и дольки  
зимой представляются краше.  
Искусственный глаз стрекозиный  
тарашил цветные песчинки.  
Желвак мотылька напрягался  
в старательной страсти к тычинке.  
И храбро меня занимало  
кузнечика косноязычье,  
улитки нервной корона,  
жука гуттаперчивость птичья.  
И мгла земляная немела  
внутри травянистого тела,  
в себя не пускала, спасала,  
лишь тенью мою владела.

1986

\*\*\*

Ты просто листва, затаенная в нишах  
домов с капителью трехпалой, заблудшей,

с надушенной тушей сирени поникшей,  
поющей — боюсь, — нет, немую, так лучше.

Ты просто тяжелые Божии реки,  
безмолвные волны — о нет, разуверься, —  
ты просто — и ныне, и присно, во веки  
веков — только дождь и дождливые рельсы,

и эти, вдоль Лиговки, мятые блики  
ликующей мглы, и щемящая жалость  
к той жизни, что брезжит на сумрачном лике,  
к той тайне, которой немного осталось.

1988

\* \* \*

В этом городе, где  
    меж камнями кривится трава,  
где огромной фольгой  
    полуночные лифты шумны,  
здесь, когда произносишь,  
    какие бывают, слова,  
как они невозможны для слуха,  
    для знания страны.  
Отрешиться от слов,  
    будто душную кофту на стул  
бросить в комнате темной,  
    где ты — лишь медлительный гость...  
Но древесная длань,  
    та, чей перст и лёгóк, и сутул,  
речь твою продолжает,  
    просыпав осеннюю горсть.

Голос скользких согласных,  
скрипя, воскресили суки  
в этой жалобной дрожи  
небесных, пропущенных строк.  
Вся сердцами листва.  
Золотые немые круги  
на сентябрьской воде  
оставляет кровавый листок.

*1987*

## Том Ганн

### СТИХИ

*Том Ганн ( род. 1929 г.) — современный англо-американский поэт. Преподавал в английских, а затем и в американских университетах. Активный участник поэтической группы "Движение". Лауреат премии Сомерсета Моэма (1957). Ганну удалось с большой чуткостью уловить и поэтически запечатлеть крайнюю напряженность, стремительную динамику и отчуждение личности в современной действительности. Его поэзию отличают высокая техника, глубокий лиризм, тонкость психологического рисунка.*

#### В ДВИЖЕНИИ

Вот, синяя в зеленом галдеже,  
Метнулась сойка, в небе — птичий всплеск,  
И ласточки застыли в вираже  
Над гнездами, над ярусами рощ.  
Инстинкта их размеренную мощь  
Ища, ты движешься с тупым напором  
Под разума рассеявшимся сором,  
Под громом, скрывши слов неточных треск.

---

© Перевод. Ольга Мартынова, Олег Юрьев, Дмитрий Закс,  
Сергей Степанов, 1991

Черны, малы, издалека на мух  
Похожи мотоциклы, их вперед  
Швыряет расстоянье — рокот глух  
Издалека, но ближе — громобой.  
В очках и шлемах — каждый, как другой,  
На куртках пыль и блеск. В одно мгновенье  
Упрячут бесполезные сомненья.  
Им грохот вскроет смысла оборот.

Еще не ясен точный результат  
Отваги их, но в шуме скоростей —  
Туда, туда, куда и шины мчат.  
Пугают птиц бездумно, но оно  
Понятно: воле все подчинено.  
Создав мотор и душу, люди стали,  
Держа нетвердо руль, жать на педали,  
Чтоб выгнать время с избранных путей.

Здесь часть решенья. Ты не вовсе чужд  
Земле, иль проклят — полузверь — когда  
Инстинкт молчит, твоих не зная нужд,  
Или когда очнешься, а кругом  
Движенья слышишь дрожь, и дробь, и гром.  
Найдя движенье в мире бестолковом,  
Ты выбрал, стал влекущим и влекомым,  
Ты движешься, ты движешься всегда.

Их держит миг, но им пора: верхом  
На рукотворной воле вихрь лихой  
Сквозь города проносится рывком,  
Где птица или святость не нужны,  
Чьи цели слишком определены.  
Но ты (тебе свершенья цели чуждо)



Всегда по крайней мере на ходу, что  
Скорее неустанность, чем покой.

*Перевод Ольги Мартыновой*

## СЮДА ИДУТ СВЯТЫЕ

На поле снег, на снеге свет луны,  
Сюда идут прекрасные святые...  
...Мы смиренные селяне, мы простые  
Свидетели, — их цели нам темны.  
Мы смотрим, но чуть сумерки густые  
Взорвет крик петуший — все, все кинутся они  
В лес, в мрак, в ночь, нет их, нет, не видны...

*Перевод Олега Юрьева*

## СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК

Не нужно спрашивать того кентуриона —  
(Вон он в углу кивает, и нагрудник  
сверкает круглый...) — где истинный сокрылся Рим.  
Есть и у Ливия утерянные книги.  
Что скажет он? — Лишь проведет сквозь лунный  
луч.

Когда ж он двинется, заметь: движенье — рьяно.  
Он знает: тьма — река из вод бесповоротных,  
Заиленных... Но так тверда под ним!  
Никто не пересек — мы знаем — этой влаги,  
Разве лишь несколько, кем ненавидим лунный луч.

Когда заговорит — заметь: тяжелозвонна  
Латынь старинная в речах ревниво-трудных:

"Не думаю, что кесарь наш томим  
Пристрастием к грому лат и к взбешенной квадриге.  
Он друг христиан. Его покои — лунный луч."

Торопит он: "Взгляни, вот вои без изъяна!"  
(И хватка его пальцев — пять ремней холодных...)  
Вдруг — отшатнулся, побледнев... оглядывается,  
одержим...

... Так что же сей утес — один в исчезшем  
бреге —  
Спасло. дабы в него бил, бил, бил лунный луч?!

*Перевод Олега Юрьева*

## В КАМЕРЕ

Он был в двухместной камере, один:  
И в первый день, насупленный, смущенный,  
На нижних нарах сидя, оглядел  
Свою тюрьму, уже как заключенный.

Здесь было чисто. Справа на полу  
Таз для мытья, обмылок, два бумажных  
Несмятых полотенца и в углу  
Под лампочкой, без загородки, нужник.

Все оглядев, что мог здесь оглядеть,  
Поздней, когда погасло освещенье  
Он снова видел видимое здесь  
Как некий строй, без цвета, формы, тени.

Зато поняв, куда попал, он лишь  
Теперь смог оценить свои богатства —

Коричневый кирпич, фонтан и плющ —  
Все лишь тюрьма, где лампочка погасла, —

Тюрьма вмещала камеру, а та —  
Застывшее пространство, где иные  
Его не ждут открыться, и куда  
Лишь вновь и вновь входить ему отныне.

*Перевод Дмитрия Закса*

## ТАИНЫЙ СОУЧАСТНИК

Утихла боль. Сугробы намело  
Под окнами моими, где с тоскою  
Вновь, вновь и вновь себя я окликаю.  
А снег застыл, как мертвое чело.

Там свет в окне — откуда быть ему?  
Там я один за тканью занавески,  
Я здесь один зову себя... Что если,  
Что если кто-то выглянет во тьму?

Распятому меж равных страхов двух,  
Что делать мне, попавшему в трясину,  
В провал сознания — что как не застану  
Себя? Что если мой бесчувствен слух?

Сквозь эту мысль я разглядеть успел:  
Рука в окне коснулась занавесок,  
Но чья рука? Моя ли?... С темных веток  
Посыпал снег и ветер заскрипел.

В своей норе проснулся ветер, и  
Я наверху, в постели. Снег снаружи

Слетая с веток, выгнутых от стужи,  
На плечи осыпается мой.

*Перевод Дмитрия Закса*

## В РАЗЛУКЕ

Я думал, что давно уж нет препон  
Любовникам, что стерлись те ступени,  
Ведущие в замшелый склеп, во тьму,  
Где спит Она и так печальны тени.  
Где нам не оказаться никому,  
Поскольку мы жильцы своих времен.

И мы вольны крутить свою любовь,  
Где захотим, переменяя чаши —  
Но каждая отыщет свой силок.  
Что Капулетти и Монтекки наши?  
Бесформенны они, как дыма клок,  
И нет лица им, чтобы вскинуть бровь.

Не прячемся, но что свобода нам?  
Любви Ромео тесно было в теле —  
Он в считанные дни сгорел дотла!  
А наши страсти тлеют еле-еле,  
А то и вовсе — стылая зола.  
И нам не вспыхнуть на страницах драм.

Где был страстей неистовых накал —  
Имеются лишь мелкие детали,  
Одна другой подробней, и затем  
В стерильном замыкаются финале,  
Где нет любви в желанье холостом  
И не сжимают в кулаке кинжал.

А если взгляд задержится на чем,  
То это эпизоды не для драмы.  
Но даже и в рассудочном огне,  
В долготерпении тяжелой дремы  
Затаена трагедия, и мне  
Гнетущий блеск ее давно знаком.

*Перевод Сергея Степанова*

## ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В ТЕДДИНГТОНЕ

Как будто в комнату жилую  
Открыты окна прямо в сад,  
И по дому витал вслепую  
Цветов и листьев аромат.

И пес кудлатый, чрез порожек  
Бежавший весело к столу,  
Не различал песок дорожек  
И желтый пластик на полу.

И зелень, зелень — просто чудо!  
И прижимаясь к кирпичам,  
Водил усами плющ, покуда  
Не вполз на подоконник к нам.

Был сад приветливым соседом  
И нам дарил свои лучи  
В час отдыха, и за обедом,  
И в теплой августа ночи.

И приходя с ночной пирушки,  
Мы спотыкались каждый раз

О позабытые игрушки,  
В траве укрытые от глаз...

Когда же окна затворили,  
То взаперти осталось нам  
Вдыхать лишь запах теплой пыли.  
И сад упал к своим ногам...

*Перевод Сергея Степанова*

Макс Жакоб  
(1876—1944)

## СТИХИ

Когда ранней весной 1944 года в газетах появился некролог, в котором говорилось, о том что 5 марта в концлагере Дранси скончался французский поэт Макс Жакоб, это имя уже давно не было "на слуху". В течение последних 20 лет он почти непрерывно жил в аббатстве Сен-Бенуа на Луаре, лишь изредка и ненадолго появляясь в Париже. В последние годы он практически не публиковал своих произведений, посвятив себя молитвам, медитациям и переписке с друзьями.

А между тем, в свое время имя Жакоба было хорошо известно. Бытует довольно расхожая фраза, что во французской поэзии XX век начался не в 1901, а в 1913 году. Десятилетие до этого печального года — и есть "его" время — это "Belle époque" — "прекрасная эпоха". Тогда в начале века в Париже появилась плеяда писателей и художников: бедность, беззаботность, богема — и все гениально. Знаменитый в истории литературы дом на Монмартре — "прачечная на плоту", где собирались художники-кубисты, поэты-модернисты, парижская богема, создавались новые теории живописи и самые парадоксальные воззрения на литературу. "Банда Пикассо" — так называли обитателей этого дома, чьи имена сейчас не нуждаются в пояснениях: Аполлинер, Сальмон, Сандрар, Модильяни...

*Кто же такой Макс Жакоб? Поэт. Творчество которого, по словам одного из критиков "непосредственное, нежное и волнующее, наивное и измученное, жестокое и патетическое, не является ли оно, как и его вера — заклинанием тоски?". Художник. Очень сильный и самобытный. Сейчас его рисунки и акварели — в лучших музеях Франции. Астролог. Занимался астрологией профессионально, автор нескольких книг. "Божий паяц". Основной герой стихов Жакоба — это ангел-шут, основная тема — мистическая и бурлескная двойственность. Визионер. В 1909 году на стене своей комнаты он увидел Христа, крестился. Мученик. Когда началась война, он сам пожелал носить желтую звезду. Его последними словами было: "Я не боюсь".*

## СВЕТ ВО ТЬМЕ

Настанет тишина, как холодок по коже,  
Сквозь облетевший сад, сквозь предвечерний шум  
Спокойно и легко подумаю: "О Боже,  
Ты это сочинил, я это запишу."  
Нам издавна близки повадки лицедея,  
Но ускользает звук, как влага из горсти.  
Я так же неумел, как и самонадеян,  
Ни слова не сказал, ни сути не постиг.  
Единственное, что утешит нас, — глядите:  
Что нынче на щеке — роса или слеза?  
Один и тот же ритм и в плаче Эвридики,  
И в шорохе листвы, и в том, что я сказал.

---

© Алла Смирнова, 1991  
© Перевод. Алла Смирнова, 1991



Не увлечет игра фантазии и яви,  
Не тронет ни собор, ни музыка, ни стих,  
Но вдруг остановлюсь перед цветеньем яблонь,  
Застыну у пруда — и глаз не отвести.  
Не отцветает сад, и лист в пруду не тонет,  
У осени моей ни грусти, ни беды.  
О научи сказать! Но я — лишь я. И только.  
Педант и грамматист, создатель запятых.  
О кто меня вовлек в пустые игры празднеств?  
Кто показал мне пруд и поле под дождем?  
Не знаю, кто здесь — я. Но знаю, что напрасно  
Я снова появлюсь. Я снова побежден.

## ЗЕМЛЯ

Поднимите меня над слепыми свечами земли,  
Поднимите меня над витыми корнями земли.  
Чтобы сверху не видеть блестящего тела змеи.  
Ей от судорог корчиться, ей захлебнуться в крови,  
Задохнуться от хохота, губы в гримасах кривить  
От мучительных сумерек до наступления дня.  
Отлучите меня от земли. Поднимите меня.  
Ненавистна земля, где юродствует все и гниет.  
Ухватиться бы мне за трехцветное знамя твое!  
Это ветер полуночный в шелковых складках поет.  
Мне в пределах земли не достанется жизни иной,  
Здесь меня раздирает вражда между мною и мной.  
Мне спокойно лишь там, где не думается ни о ком,  
Я завидую птицам и звездам — они высоко.  
Это ветер колышет прозрачные кроны деревьев.  
Это я поднимаюсь над холодом ваших дверей.

## ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

Поэт — алфавит,  
Мне милость яви.  
Пою о любви.

Поэт и псалом,  
Среди орифламм  
Пою о былом.

Поэт — Мореход,  
Волна, а не холм,  
Налейте вина!  
Пою о волнах.

Поэт — Иисус,  
Христос — моя суть.  
Мой путь.

\* \* \*

Случается так: ты идешь по дороге в Бретани  
И слышишь шуршанье колес, а машина не едет.  
Случается: мебель никак не расставить в гостиной  
у Эммы,

А как я старался!  
Напевала портниха,  
И дети кричали  
(И сколько я помню — была заколочена дверь.)

Случается: добрый священник  
Идет к заключенному,  
Чтобы ему сообщить о свободе  
И возле острова Торо на желтом песке

Поставит решетку из тысячи свечек  
Или тысячи трубок органных.  
Случается: тысяча нищих стоят на дороге и просят.  
Которому дать? Обратись в полицейский участок.

Тем временем принц Уэльский и братья его  
Коллекционируют шляпы,  
Похожие формой на их черепа.  
Отец их — английский король  
Слишком толстый и слишком белесый. Я вижу  
Часть руки его, спину, купальный халат  
И толпу фаворитов.  
Придворный поэт  
Был также отмечен,  
Как артиллерийский наводчик в году  
восемнадцатом.  
Пуля настигла его, когда он еще пел.

## В ЧЕСТЬ САРДАНЫ И ТЕНОРА

*Посвящается Пикассо*

(отрывок из поэмы)

Здесь у стен Аликанте Эгейская плещет волна...  
Только вот у меня, как всегда, ни доходов,  
ни ренты...  
А над морем и городом горы очерчены резко,  
И увенчана доблестным гербом кастильским —  
стена.  
Здесь квадратные церкви и крыши. У моря —  
сквозит,  
А вдоль моря веселые и разноцветные толпы.  
И откуда взялся опереточный их реквизит?

Трудно не улыбнуться при взгляде на римские

тоги...

Но от ярмарочной, балаганной, чужой пестроты —  
(Чернослив и олива — вот краски базара и полдня!)

Не укрыться, не спрятаться, как ни стараешься ты.

И глаза заболели. И долго получится помнить.

Все, что ни пожелаете: церкви, базары, кино...

И безудержно на тротуарах пылают жаровни,

И козлята вытягивают свои шеи жирафьи...

В этих шурах когда-нибудь будет плескаться вино.

Все здесь перемешалось: то церковь, то пристань,

то сад,

Сотни красок и запахов: улицы, моря, базальта...

Белозубые рыбы с лотков выплывают базарных,

Все в нелепых очках и больших бутяфорских усах.

И спускаются крыши крутыми ступенями вниз,

Или нет, поднимаются к небу все круче и выше...

Слишком мало цветов. Но такое обилие вишен! —

Что черешневый запах, как облако в небе, — завис.

А балконы парят над землею, над городом, над

Многоцветным базаром, где царствует полдень

цыганский,

Заводной, феерический, венецианский,

Со своей красотой и смыслом, неведомым нам.

Как Пизанская башня, склоняется розовый куст,

А из кухни доносится запах муската и сена,

Кто не видел Испании, тот не почувствует вкус,

Не распробует запах морской омывающей пены.

Тот не знает, как выглядит пригород в полдень

и зной,

Как он благоухает с утра и какого он цвета,

Что за белые горы стоят у него за спиной,

За стеной монастырской, крутой... Он не знает

об этом.

Как еще говорил незабвенный Альфред де Мюссе,

Кто не видел Испании, тот никогда не узнает,  
Сколько тайных ходов и подвалов прорыто везде  
Во дворе монастырском, что дверь закрывает  
резная.  
Город днем обнажен. То есть пуст. Он забыл  
обо мне.  
Здесь безлюдно и солнечно. Здесь заблудиться  
несложно.  
Только некий чистильщик сапог, прислонившись  
к стене,  
Сидя на тротуаре, жонглирует щеткой сапожной.  
Есть у города крепость. А в крепости — сотня  
солдат,  
Старомодные пушки... суровые темные лица...  
И солдаты в надвинутых шлемах недвижно стоят,  
Охраняют покой. И свистят проходящим девицам.  
И какой-то прохожий, не знатен и не знаменит,  
Впрочем, в меру удачлив. И добр. И судьбой  
не обижен,  
Остановится на перекрестке и долго стоит  
И гадает: направо — налево, кафе или Биржа?  
Как мне нравится город: беспечный, беспутный,  
хмельной...  
Не солжет, не обидит, но и притворяться не станет.  
А живет здесь, наверное, солнечных демонов рой,  
И от них ставят крепости и запираются ставни.

## ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЭСТЕТОВ

В городе Париже  
На лошади рыжей,  
В городе Бордо  
На лошади гнедой,  
А в городе Бресте

Лошади без масти.  
Ах как все прекрасно-прекрасно,  
Ах как все прекрасно, Иветта!

А моей Иветте, Иветте  
Колокол звонит на рассвете.  
Кто сегодня умер в Нанте?  
Умерла жена коменданта.  
Кто сегодня умер в Ниоре?  
Умерла сестрица приора.  
Кто сегодня умер в Ницце?  
Умерла племянница принца.

А теперь — к Парижу поближе.  
Что у нас сегодня в Париже?  
Ах на праздник купит нам папа  
Зонтик с кружевами и шляпу,  
Шелковое платье в оборках  
И мешок орехов обоим!  
А на рыжих туфельках пляшут  
Золотые пуговицы-пряжки.  
Надевай их только на праздник!  
Ах как все прекрасно-прекрасно,  
Ах как все прекрасно, Иветта!

А моей Иветте, Иветте  
Колокол звонит на закате.  
Колокол ударит в Марселе —  
Значит, всем пора быть в постели.  
Колокол ударит в Лиможе —  
Папе спать пора уже тоже.  
Колокол звонит в Сен-Мало —  
Всем уснуть нам время пришло.

Ах нет-нет, постой, давай еще купим  
Самую красную машину на свете!  
Понесемся мы на радость Иветте,  
А за нами понесутся пыль да ветер.  
Берегитесь господа-дамы!  
Это я с моею Иветтой!  
Ах как все прекрасно-прекрасно.

## ЛЮБОВЬ БЛИЖНЕГО

Вы когда-нибудь видели, как жаба перебирается  
через дорогу? Она похожа на крошечного  
человечка — меньше куклы. Она ползет  
на коленях,  
думаете, ей стыдно? да нет... просто у нее  
ревматизм, и она волочит за собой больную ногу.  
Куда она — так? Жалкий паяц, она выбралась из  
канавы. И никто на улице не заметил эту жабу.  
Так и меня когда-то никто не замечал на улицах,  
а теперь дети смеются над моей желтой звездой.  
Какая счастливая жаба! у нее нет желтой звезды.

*Перевод Аллы Смирновой*

## МОСТ НАД ЭПОХОЙ ПРОВАЛА

*Но я предупреждаю вас,  
Что я живу в последний раз.*

А. А.

*Халды-балды!*

О. М.

*Мне скучно, бес.*

А. П.

### 1. Литература

Издателю легче ответить на вопрос, для чего он печатает книги, чем писателю — для кого он их пишет. Я совершенно согласен, что рассуждать о литературе приятней и легче, чем делать литературу, но и писатель время от времени спрашивает себя, в чем смысл его работы. Пишет ли он для народа? Или для друзей? Для начальства? Для любимой женщины? Все ответы более или менее неудовлетворительны, и вот вам прекрасный повод отшвырнуть опостылевшее перо (или вырубить компьютер). С чего же мы начнем?

Всякий литературный текст "актуален", тем не менее литература и общественность — понятия, связанные не прямой, а обратной зависимостью. Чем литература актуальней, тем она меньше литература. Чем активней она откликается, вмешивается, клеймит, выступает в защиту — тем хуже для нее, тем она меньше литература. Литературу называют барометром, но это худшее, с чем ее можно сравнить. Или это барометр, который сам придумывает погоду. Несколько великих исключений, Аристофан или "Бесы", лишь подтверждают правило; при ближайшем рассмотрении исключения оказываются мнимыми; злота дня переселяется в комментарий — кладбище злободневности;



то, что казалось острым, предстает как художественный прием, повод для чего-то другого. Происходит то же, что с утварью и оружием: вещь оказывается произведением искусства после того, как отпала необходимость притворяться полезной.

В этом суть дилеммы: или "актуальность" как литературный прием, или прием на службе у актуальности. Но жизнь неизменно отвечает ангажированной литературе черной неблагодарностью: ирония состоит в том, что литература, которая хочет говорить о самом жгучем, наболевшем и живогрешущем, оказывается банальной, то есть художественно несвоевременной. Быть с в о е в р е м е н н ы м в литературе значит быть несвоевременным. Дело не в том, что устаревают общественно-политические проблемы, за которые она ухватилась с таким пылом, а в том, что литература, которая хочет быть близкой и понятной всем, не может не быть тривиальной. Иначе кто ее будет читать?

Между тем разоблачения приедаются. Обстреливать из духового ружья полигический режим весело и занятно, лишь пока в ответ гремят орудийные залпы. Читать романы, чтобы вычитывать из них жизненную правду, которую я знаю и так, становится скучно. Раскрывать книжку, чтобы увидеть там, как в луже, дома, прохожих и собственное лицо, скучно; читать тысячестраничные эпопеи, чтобы узнать правду истории, как ее понимает летописец-беллетрист, — скучно до чудовищной зевоты. Ситуация русского писателя всегда осложнялась тем, что большинство не замечало очевидного факта: литература мстит, когда к ней относятся как к моющему средству. Вам не нравится? Ради Бога. Воспользуемся другим детергентом. Литература мстит, но особым образом: своим исчезновением. Странно сказать, но политическая ремиссия и культурная оттепель первым своим следствием имеют то, что литература в собственном смысле тает под весенним солнцем, превращаясь в огромные лужи публицистики.

Взирать на свою страну с критцизмом и недоверием, сохранять скептическую дистанцию по отношению к собственному народу, относиться к обществу и существующему порядку с тем специфическим отвращением, какое испытывал к Франции Флорбер или к Австрии — только что умерший Томас Бернхард, словом, ставить под вопрос "современность", всю современность, — что может быть естественней для писателя? Но тогда чего же мы от него ждем? Надлежит ли ему быть патриотом, наставником общества и народа? Учить добру или хотя бы честности — в городе, где единственный порядочный человек прокурор, да и тот, если сказать правду, свинья? Может ли русская литература все еще оставаться архаическим священным писанием народа, быть всем на свете, этикой, религией, социологией, историей, публицистикой, не много ли — или, может быть, не м а л о ли всего этого? Подумаем, не означает ли это в условиях массового общества попр-

сту сделаться тривиальной литературой. В отличие от западной тривиальной литературы, которая хочет развлечь читателя, русская литература серьезна и хочет учить и служить. Но качество литературы определяется не ее честными намерениями. Тривиальная литература есть не что иное, как позавчерашняя классика: заросли папоротника, некогда бывшие лесами.

## 2. Парадигма

Наука, основанная на господствующей парадигме, есть "нормальная" наука. Я полагаю, что не будет чересчур смелым воспользоваться терминами Томаса Куна для рассуждений о литературе. Трактат Куна "Структура научных революций", дважды изданный на русском языке, не привлек внимания литераторов и литературоведов, о чем следует пожалеть. Здесь достаточно напомнить его основную идею: развитие естественных наук совершается не путем последовательного накопления знаний, как копятся книги в библиотеке, а от одной научной революции к другой; революция — это крушение парадигмы.

Регулярная, признанная словесность под сенью чтимых монументов, основу которой составляет некоторый общепонятный стиль или, что то же самое, общепринятое художественное мировоззрение. Вот что такое нормальная литература. Эта литература призвана служить народу и кормить писателей совершенно так же, как наука — приносить пользу обществу и давать пропитание ученым. Это мировоззрение воспитывает читателей, формируя поле банальности, внутри которого совершаются новые открытия, радуют критиков художественные находки, гремят сенсации, кипит литературная борьба. И все хорошо, и все довольны. Несчастье в том, что когда мир обжит, в нем становится скучно жить. Крушению литературной парадигмы предшествует оскомины от литературы. Ведь парадигма представляет литературу как таковую; сквозь эти очки взирает на литературу в целом, на ее миссию, на ее суть.

Мы будем говорить о парадигме, которая называется социалистическим реализмом, но прежде необходимо сказать несколько слов о его главном враге.

## 3. Авангард

Соцреализму противостоит литературный авангард, вернее, должен был бы противостоять. Ибо кому же еще сподручнее замахать на словесность, которая прямо-таки просится, не правда ли, чтобы в нее запустили тухлым яйцом? Но авангард в литературе двадцатого

века сам по себе уже дело довольно далекого прошлого: больше, чем о каком-либо ином "направлении", о нем можно сказать, что все это было, было, было. Авангард был интермедией и, верный своему предназначению сокрушать старое искусство, расчистил место для другой рутины — социалистического реализма. Таким образом, об авангардизме, принимая во внимание его музейный характер, особо распространяться не приходится. Устарел не только он сам, устарели и протесты против авангардизма, равно как и доводы, с помощью которых вроде бы удалось доказать, что авангард — искусство, единственно соответствующее нашей эпохе. К несчастью, "наша эпоха", прошла, наступила другая. Гениальность пионеров самовитого слова, гениальность Хлебникова, молодого Маяковского, Крученыха, гениальность дада — это гениальность времени, когда Искусство еще пишется с большой буквы, еще достаточно величественно для того, чтобы покушение на него могло возмутить, взвинтить и воодушевить публику. На всякий случай стоило бы еще раз договориться о смысле слов. Авангардом, то есть чем-то марширующим впереди всей рати, обыкновенно называли широкое и наделавшее много шума движение, некое пестрое шествие, оглашавшее своими криками усталую литературную Европу между 1910 и 1930 годами. Авангард, следовательно, не есть синоним модернизма вообще, а скорее "выблядок" модернизма.

"Обычное" искусство стремилось так или иначе преодолеть хаос жизни. Авангардизм имел претензию воспроизвести этот хаос. Традиционная эстетика укрощает стихию языка с помощью того, что в широком смысле слова именуется стилем. Для авангардного мышления понятия стиля не существует, стиль отождествляется с идеологией, и вообще все это — старый хлам; вас зовут к свободе, бунту и своволию. Нырнуть в стихию, вернуться к языковой плазме. Классическое искусство искусственно. Авангардистское словотворчество "естественно". Авангардизм — это своего рода романтизм двадцатого века, дальний потомок того, настоящего романтизма, но в отличие от благородного голубоглазого предка это романтизм не аристократический, а скорее хулиганский. Сокрушив литературные формы, новатор-иконоборец озирается в поисках чего бы еще разнести: на очереди — сама речь. Языковая материя авангарда разжижена настолько, что его алфавит и грамматика оказываются семантически пустыми или почти пустыми, вот почему возникает впечатление многосмысленности этих звукоизвержений. Так темнота кажется населенной призраками. Авангардистский текст есть, собственно, "текст с минимальной степенью упорядоченности кодовых знаков" — текст наименее дисциплинированный и высокоэнтропийный. В пределе — это заумь.

Облик литературы нашего века невозможно представить себе без авангардизма, но авангард сам задает чисто материальный критерий вычленения: возврат к первоначальному слову, к составным частям и, наконец, элементам. Разложение формы, возвращение к дотворчеству; авангард зовет к примитивности, о которой, однако, нельзя сказать, что она носит первобытный характер: это скорее финиш, чем старт. Модернизм же, как я его понимаю, приходит к усложнению формы, так как он порожден усложненным — удвоенным и утроенным — сознанием.

Быть авангардистом легко, — в этом, я думаю, состоит отличительная черта этого новаторства в эпоху, когда авангард давно уже не авангард и принадлежит скорее литературоведению, чем литературе; говоря словами Питера Слотердайка, "коль скоро шок стал школьным предметом, а студенты-искусствоведы изучают дада и пишут дипломные работы о сюрреализме, — несущий принцип новаторства внутренне исчерпан". Вдобавок авангардистский бунт, как бунт подростка, приспособлен к буржуазным родителям: они придают ему смысл и смак; революция может иметь успех лишь там, где есть что сокрушать. Когда родительский кров исчез, бунт становится беспредметным и теряет пикантность — главное, на чем держалась вся авантюра. Толпа, сбежавшаяся поглазеть на эстрадного борца, быстро редеет, и авангардисту ничего не остается, как искать пристанища у какого-нибудь мецената-хлебникова.

Ныне роль буржуазного семейства играет соцреализм. Быть может, это дает литературному авангарду в России новый шанс привлечь на короткое время внимание публики.

#### 4. Идеи

Во избежание недоразумений мне хотелось бы предупредить, что я не вкладываю в понятие социалистического реализма определенное идеологическое содержание. В самых различных областях знания существует немало терминов, буквальное значение которых давно не отвечает их смыслу. Слово "социалистический" нужно понимать лишь как дань традиции.

Каждому, кто знаком с выходившими в СССР трудами о социалистическом реализме, должно было броситься в глаза, что в них отсутствует определение предмета. Его невозможно найти даже в Литературной энциклопедии, где сказано (в статье под этим названием), что с.р. — основной метод советской литературы. Далее следуют цитаты из Горького, Ленина и т.п., похвалы новому методу, но на главный вопрос: *quid est?* — ответа нет. Это можно объяснить политическими условиями, боязнью взять на себя ответственность, хотя любая

литературная парадигма, вообще говоря, с трудом втискивается в краткую характеристику.

Итак, я предлагаю отнести к социалистическому реализму всерьез, то есть рассматривать его как систему представлений о литературе, метод решения литературных задач, особого рода литературную философию, этику и эстетику. В таком понимании социалистический реализм есть нечто более широкое и фундаментальное, чем направление или течение. И уж во всяком случае — нечто большее, чем система правил, предписанных идеологическим отделом ЦК. Политическое содержание произведений соцреализма, создававшихся в стране, придало ему слишком специфический характер; неприглядный облик адептов этой школы и самый факт ее цветения в системе партийно-полицейского дирижирования литературой были причиной того, что соцреализм сделался синонимом рептильной литературы. Между тем литература социалистического реализма с равным успехом может функционировать и как советская, и как антисоветская. Антикommунизм ей также приличествует, как и советский патриотизм. Важен самый принцип функциональности, то есть сознательного служения идее, что и дает право вынести эту идею за скобки. Другими словами, не идеология определяет, как может показаться, эстетику социалистического реализма, а эстетика влечет его в объятия идеологии — какой именно, не так уж важно. Об этом не стоит забывать, говоря о единстве двух частей искусственно расчлененной русской литературы.

## 5. Народ

Нам известно не так много о русском беллетристе 90-х годов Борисе Тригорине; от его сочинений сохранилась одна строчка: "Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее". Зато мы располагаем довольно подробными высказываниями писателя о его творческом методе.

"Я люблю вот эту воду, деревья, небо, я чувствую природу, она возбуждает во мне страсть, непреодолимое желание писать. Но ведь я не пейзажист только, я ведь еще гражданин, я люблю родину, народ, я чувствую, что если я писатель, то я обязан говорить о народе, об его страданиях, об его будущем, говорить о науке, о правах человека и проч., и проч., и я говорю обо всем, тороплюсь, меня со всех сторон подгоняют, сердятся, я мечусь из стороны в сторону, как лисица, задравленная псами, вижу, что жизнь и наука все уходят вперед и вперед, а я все отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд, и в конце концов чувствую, что я умею писать только пейзаж, а во всем остальном я фальшив, фальшив до мозга костей."

Литература имеет право на существование, поскольку ее интересует не только природа, но и народ; ее оправдание в том, что она понимает себя как служение и средство; если ея недовольны, то потому, что она все еще недостаточно актуальна, все еще заглядывается на деревья вместо того, чтобы исправно отвечать на общественные запросы. Социалистический реалист — это Тригорин наших дней, или Боборыкин, или "бодрый талант" Потапенко, который был, говорят, прототипом Тригорина. Он сознает свой долг писать о страданиях и правах и готов соответствовать с дорогой душой, но что-то грызет его изнутри, он не может избавиться от ощущения фальши. В чем дело? Почувствовал ли он, что твердит зады, повторяет то, что ясней и проще, без беллетристических затей, всех этих "да, сказал он и прямо взглянул ей в глаза", "нет, прошептала она, потупляя взор", без утренних зорь и весенних разливов в Гремячем Логу можно высказать в журнальной статье? Или дело обстоит еще хуже, и в его душу впервые закралось подозрение, которое ставит под вопрос самый принцип социально-реалистического и ангажированного искусства: подозрение, что объект этого искусства, так называемая действительность, сам по себе двусмысленен, зыбок и ненадежен?

Художественное исследование действительности — так формулирует свой метод эта словесность. Презумпция объективной истины, уверенность в том, что существует общеобязательная и единообразно читаемая версия действительности, которую нужно лишь художественно освоить, — собственно и составляет основу этой литературной парадигмы. Увидеть правду, рассказать о ней, открыть на нее глаза всему обществу. Эта правда, следовательно, хоть и существует до того, как явится старатель, который отмоет ее от песка и глины, должна удовлетворять некоторым условиям: она должна быть важной для всех. Только такая правда достойна внимания. Поэтому писатель обращается не к кружку ценителей, но видит мысленно перед собой весь народ. Он должен быть понятным народу. Он выступает от его имени. Это как бы сам народ, чудесным образом обретший дар речи.

При таком подходе к делу, само собой, не может быть места сомнению относительно того, что и "народ" как некая метаисторическая величина существует на самом деле. Условием контакта с многомиллионным читателем должна быть общность сознания. Литература социалистического реализма не только постулирует такую общность, но в известной степени и творит ее. Это — литературное творчество в некотором нелитературном поле банальности. Иначе говоря, действительность, в существование которой он верит, есть, конечно, творение его фантазии, иначе эту литературу вообще невозможно считать литературой, — но точка зрения, с которой писатель-соцреалист обзревает действительность, есть точка зрения обыденного сознания. Средства, которыми он осваивает эту действительность, должны быть

адекватны ей. Плуг, борона — весь инвентарь реалистического земледелия готов к его услугам.

## 6. Музыка

Существует теория, по которой с к у к а является главной пружиной эволюции искусства, смены вкусов и направлений. На вопрос, почему новое поколение зевает над книгами прославленного мастера, приходится ответить: надоело, и все тут. Дело не в таланте, а в истерпанности поэтики. Как-то вдруг обнаружилось, что шеренга ветеранов 60-х годов марширует на одном месте. Но хуж: всего то, что мы вступаем в эпоху, когда самое место литературы и ее роль в общественной жизни меняются, когда русской литературе придется отказаться от заветных святынь, от претензий руководить обществом, от заповеди служения народу. При той огромной конкуренции, какую представляет для литературы телевидение и пресса, писателю, возможно, не останется ничего другого, как собрать свой товар и ретироваться с рынка.

Его еще будут терпеть, как старую тетушку, за столом, где председательствует журналист и ведут беседу историк, экономист и социолог. Но все, чем писатель может служить народу, уже расхвачано.

В искусстве, как в математике, существует представление о пределе. Предел литературы — это абсолютная литература, то есть литература без читателей: нечто подобное незвучащей музыке, о которой однажды заходит речь в разговорах Адриана Леверкюна с ученым другом, музыке, бытийствующей в качестве чистой структуры; ее даже нет надобности исполнять. Может быть, литература, как и музыка, движется к самоубийству. Может быть, у нее останется не больше ценителей, чем слушателей у современной музыки; может быть, она станет искусством для знатоков, творчеством для творцов и для комментаторов. "Нас мало избранных, счастливых праздных".

Социалистический реализм возник в поле высокого идеологического напряжения. Он представлял собой отчуждение идеологии в литературу. Теперь источники тока, создававшие разность потенциалов, иссякли. Со смертью идеологии выдыхается и контридеология. Но это не значит, что искусству социалистического реализма — искусству массового сознания — предстоит исчезнуть без следа. Я хотел бы еще раз сказать, что я не согласен с утверждениями, будто социалистический реализм — ложь и абстракция, искусственная теория, придуманная для того, чтобы дирижировать со знанием дела союзом литературных рептилий. Союз союзом, но соцреализм — отнюдь не фантом, а истинное и живое лицо современной русской литературы. Исчезает социалистическая идеология; исчезнет мало-помалу и са-

мый пафос "служения". Остается литературная философия, представление о том, как надо писать, техника, поэтика, — язык в широком смысле слова. Сбросив государственный мундир, социалистический реализм братается с искусством кольпортажа.

Итак, если общество в нашей стране будет эволюционировать в ту же сторону, куда ушло западное послебуржуазное общество, место писателя в обществе станет таким же, как в Европе. Тогда окажется, что передовой отряд — это Пиккуль и Юлиан Семенов, а соцреализм в собственном смысле, романы Фадеева, Симонова или А. Рыбакова были героической юностью литературы; теперь она повзрослела, рассталась с идейными бреднями и стала обыкновенной массовой литературой. Нужно согласиться с тем, что тривиальная литература — законный и нормальный род литературной промышленности. Ведь в западных странах никому не придет в голову громить литературу бульвара, ни один литературный критик не станет возмущаться тем, что самые тиражные авторы — именно э т и. Европейский принцип иерархичности запрещает черту связываться с младенцем; эту литературу просто не замечают.

Но рядом с этой промышленностью будет проложен путь духовной специализации. Роль, которую русская литература честно старалась исполнять полтора столетия, которую упорно навязывала ей литературная критика, будет восприниматься как архаическая. Писатель окажется перед дилеммой, какая встречает его на Западе, где такое положение дел никого не удивляет. Одно из двух: или он пишет для массового читателя, или почти ни для кого. Или литература актуальная, социальная, ангажированная, литература для развлечения, литература бестселлеров и как там она еще называется, литература для социалистической, националистической и прочей черни. Или просто литература.

## 7. Эмиграция

Фраза Ахматовой: "Я была тогда с моим народом..." может быть оспорена. Ничего подобного: поэт отнюдь не был со своим народом. Эта сладкая участь выпала Твардовскому. Во всяком случае, эти красивые слова — анахронизм.

Так как бегство с родины и достоинство беглецов стали модной темой, да будет мне позволено напомнить о том, что чуть ли не половина самых значительных книг нашего века была создана в изгнании. Достаточно, впрочем, назвать только три: "Улисс", "Человек без свойств" и "Доктор Фаустус". Живи их авторы в иное время, не в век двух мировых войн, так быстро сменивших одна другую, что когданибудь на отдалении они будут казаться одной войной, вроде Тридцат-



тилетней войны, и не в мире лагерей, фашизма и коммунизма, — о них говорилось бы просто, что они живут и работают за границей.

В другом стихотворении сказано:

Но вечно жалок мне изгнанник,  
Как заключенный, как больной.  
Темна твоя дорога, странник,  
Польнью пахнет хлеб чужой.

О горьком хлебе чужбины (*lo pane altrui*) говорит эмигрант XIV века Данте. Итак, предполагается, что на родине хлеб сладок. Дома мы на воле и не больны. Нет, мои милые: в том-то и дело, что и дома хлеб отдавал польнью, да еще как. Хлеб пахнет польнью везде. Для того, кто был странником у себя на родине, эмиграция не означает отказа от жизненного признания.

Проклятье нашей жизни в СССР заключалось в том, что поднять паруса можно было только тогда, когда тебя в буквальном смысле стаскивали в воду. А далее достаточно изменить две или три буквы, чтобы изгнанник стал изменником. Дикое представление о том, что эмигрировать значит предать родину, — естественное следствие жизни в стране, отгороженной от мира. Но писатель по самой своей природе изгой, в любой стране он аутсайдер. И нет ничего удивительного в том, что родина сживает его со света.

Писатель живет не на родине, он живет в языке.

## 8. Дисциплина

Я бы хотел сформулировать два постулата литературы. Назовем их так: дисциплина и безответственность.

Писание — это война с хаосом. Нет ничего притягательнее, чем зов хаоса, будь то стихия жизни или хаос собственной души; броситься ему навстречу — нет большего соблазна. Тут мы выходим за пределы искусства, потому что тяга к безмерности, тайная любовь к хаосу и наркотическая замороженность стихией — быть может, самая сильная страсть русской души. И можно сказать, что русская литература укротила эстетически русскую душу, подобно тому как авторитарная государственность укрощала ее другими средствами. Литература — это терапия души. Для мастера, имеющего дело со словом, это означает укрощение стихии языка.

Наш язык, сохранивший архаические черты языков древности, утратил их лаконизм и перевел их потенциальную энергию в кинетическую. Это язык, который непрерывно размахивает руками, вместо того чтобы ограничиться движением бровей. Наш язык хаотически-

многоречив, избыточен и неопрятен, в нем есть какая-то непреодолимая тяга к информационным шумам. Пыльные хвосты прилагательных, мусор плеоназмов одинаково свойственны языку деловых бумаг, объявлений, газетных и журнальных статей, языку народа и языку посредственной литературы. Высокая энтропийность — первый признак плохого писателя. И можно сказать, что литература — это война с языком, с расхристанностью русского языка; писатель управляет языком, как генерал-губернатор — покоренной провинцией.

Литература "отражает" мир не более, чем наука; как и наука, литература упорядочивает мир. "Могу лишь заявить, что всю жизнь, — сказал Эйнштейн, — я любил хорошо обдуманное, трезвые фразы и лаконичный стиль." Настоящая реализация мыслеобраза — добротная сколоченная фраза. Нет ничего более очищающего душу, чем чтение хороших стилистов. Можно начисто забыть содержание книги, но сохранить память о том, как она написана. Литература побеждает хаос с помощью стиля. Стиль превращает писателя из раба языка в его хозяина; стиль, собственно, и есть дисциплина искусства.

Дисциплина предписывает писателю величайшую осмотрительность. Ни одно слово не является заменителем другого. Ритм фразы — детерминант ее содержания. Гейне предлагал обложить налогом баллады; в сущности, следовало бы штрафовать за каждое лишнее слово. Нужно следить за каждой запятой. Рассуждение Блока о трех или четырех точках в многоточии заслуживает самого серьезного отношения. Лишнее тире портит не только фразу, но и весь роман.

## 9. Безответственность

Нас учили, что искусство отличается от науки тем, что оперирует образами, а не абстрактными идеями. Это чепуха. Проза есть царство мысли. Нужны были усилия по меньшей мере двух поколений прозаиков, чтобы понять, что мысль может быть не только идеей и "теорией", но и образом и сюжетом. Но отличие литературы от науки, а также от философии, от религии, от историографии, от делопроизводства и от чего угодно состоит в том, что литература безответственна. Ничто не противопоставлено художественной литературе, никакая область жизни и никакая область знания ей не чужды, литература может иметь дело с блатным миром, с высшим светом, а также с гностикой, астрологией, каббалой, семиотикой, глубоинной психологией, с теорией, согласно которой мир представляет собой дрожание струн, и с теорией, по которой наша страна указывает путь всем народам, — но суть литературы, я думаю, та, что любое "содержание" она превращает в средство. Средство для чего? На этот вопрос ответить невозможно. Средство для себя самой. Средство самоосуществления лите-

ратора, человека, рожденного для того, чтобы превращать свою мысль, чувство и воображение в текст. "Скрипи, мое перо, мой коготок, мой посох", — вот, собственно, все исповедание писателя. В этом смысле никаким декларациям и теоретизированиям, вложенным в уста его героев и его собственные уста, — ибо и он всего лишь персонаж своей литературы, и его жизнь и личность для него не более чем материал, — никому и ничему нельзя доверять; в этом заключается его принципиальная безответственность — качество, без которого нет настоящего писателя. Он может воображать о себе все что угодно, может, как Гейне, назвать себя храбрым бойцом за освобождение человечества, может быть белым гвельфом, как Данте, роялистом, как Бальзак, или шовинистом, как Достоевский. может быть христианином, иудеем, дзэн-буддистом, атеистом — все это важно лишь до определенной черты, до момента, когда он остается один на один со своим ремеслом, с языком и искусством. И тогда оказывается, что искусство и есть его единственный бог. Нет, литература не чурается ни теорий, ни вероучений, художественная проза — давно уже не "мышление образами" только, а что-то гораздо более сложное; но и построения великих мыслителей, и концепции современной психологии, и миф, и заповеди веры — для нее лишь материал, ибо в отличие от науки, философии и религии литература не есть поиск истины. Точнее, истина, которую предлагает литература, не может быть общеобязательной, ее значение относительно, ее власть бесспорна лишь внутри художественной структуры.

В рамках литературы "концепции" скорее обладают эстетической привлекательностью, нежели имеют достоинство философских истин, и то, что происходит с философией, когда она попадает в сети литературы, в глазах философа, возможно, выглядит деградацией или по меньшей мере нечестной игрой. То, что литература проделывает с идеологией, объясняет, почему политика и партийность с опаской косятся на литературу. То, как литература обращается с человеческими страстями, заставляет религию видеть в литературе грех. Литература безответственна. Литература живет мифотворчеством, и любое вероучение может представить для нее ценность как материал, пригодный для того, чтобы выкроить из него миф; но упаси Бог превратить миф в вероучение.

Следовало бы покончить с теорией художественного исследования действительности или по крайней мере заново выяснить, что это означает. Ибо "действительность", как уже сказано, не объект, а материал, и если можно говорить о задаче романа, то она состоит в сотворении некоего мифа о жизни. В художественной прозе складывается некоторая автономная система координат, как бы ее сверхсюжет, внутри которого организуется и развивается сюжет, напоминающий историю "из жизни". В рамках литературной действительности миф

преподносится как одна из версий действительности, как "истина", если хотите; но на самом деле это игра. Игра — это и есть истина. Истинный в художественном смысле, миф освобожден от претензий на абсолютную — философскую или религиозную — истинность и, следовательно, обезврежен. А ведь мы хорошо знаем, как опасно мифотворчество, когда его принимают всерьез. И к тому же мы поняли, что смешивать искусство с жизнью — проявление дурного вкуса. Не в этом ли обыгрывании, не в этой ли де-з-ответственности состоит терапевтическое действие искусства на общество?

Если литература древних питалась языческой мифологией, а средневековая — христианской, то литература нашего времени утеплена философской мифологией. Классический пример — роман Пруста, огромная теплица под лампами Бергсона.

## 10. После нас — Китай

В прениях на эти темы неизменно встает вопрос, "что же дальше", всплывают словечки "поставангардизм" и "постмодернизм"; в который раз спохватываешься и видишь, что мы в самом деле въехали в новую эпоху: авангард превратился в арьергард, а модерн сам стал классикой.

Никто не знает, что такое Postmoderne, вернее, знают все: постмодернизмов столько же, сколько и пишущих о постмодернизме. С некоторой условностью можно говорить об американской и европейской версиях: первая, порожденная специфической для нашего века ситуацией мусорного смерча культуры, противостоит второй, элитарной. Теории наподобие тех, которые предложены Лесли Фидлером или Т. Гитлином (винегрет из обьедков культуры под знаком примитивно понимаемой иронии), отказываются признать присущий культуре инстинкт самосохранения, эту брезгливость духа, которая заставляет, вопреки всему, блюсти границу между собой и несобой, между вавилонским рынком культуры и собственно культурой.

Очевидно, что постмодернизм, толкуемый как глобальный супер- или антистиль, основанный на смешении всех стилей, представляет собой капитуляцию духа перед массовой культурой. Если это в самом деле нам угрожает, то следует ожидать, что культура свернется в клубок. Разжижению противостоит необычайно усугубившееся чувство иерархии (которое в Новом Свете всегда усваивалось с трудом), своего рода патрицианская спесь культуры. То, что художественная словесность интересует очень немногих, подобно теоретической физике или игре в бридж, — в порядке вещей. К тому же достоинство писателя состоит не в том, чтобы приноравливаться к ситуации, и даже не в том, чтобы ее преодолевать. Достоинство писателя, как, впро-

чем, и достоинство человека вообще, — в том, чтобы игнорировать ситуацию. Некоторые произведения новой литературы, ставшие отчасти уже классическими, по-видимому, предполагают слишком большой опыт жизни и опыт чтения; в итоге они немногим более доступны, чем некоторые области современной науки, творения философов или образцы новейшей музыки; это и есть тайный код культуры. О нем говорит Мандельштам в "Четвертой прозе":

"Я китаец, никто меня не понимает. Халды-балды!"

Может быть, мы вернемся в XIII век.

Термин "постмодернизм" подвергся молниеносной инфляции, еще немного, и он утратит всякий смысл. Я не могу постичь, например, каким образом Льву Лосеву могло прийти в голову считать представителем постмодернизма автора эпопеи "Красное колесо" — писателя, который всецело ориентируется на обыденное сознание. Это все равно что объявить постмодернистом Боборыкина.

## 11. Время

"Игры с временем и пространством" (выражение Борхеса) всегда были королевским доменом литературы, но, может быть, никогда прежде литература не испытывала такого чувства изношенности математического времени — род метафизической усталости в мире Ньютона.

В XI книге "Исповеди" Августина находятся знаменитые главы о времени. Что такое, время, спрашивает он. Мы это понимаем, но объяснить не можем. Ни будущего, ни прошлого фактически не существует, и вернее было бы сказать, что имеется настоящее, относящееся к вещам прошлым, настоящее, относящееся к вещам настоящим, и настоящее, относящееся к вещам будущим. Все три области существуют только в нашем представлении: настоящее вещей прошедших — это воспоминание, настоящее предметов нынешних — созерцание, а настоящее будущих — ожидание. И далее (XI, 26) следует самое прекрасное, что когда-либо было сказано о времени: "Маловероятно, чтобы оно было чем-то иным, нежели протяжением самого духа".

Время приходится описывать с помощью метафор движения и пространства, но перемещение в неподвижном пространстве само по себе нуждается во времени, а отвлечься от пространства невозможно — разве что переместить время в сферу сознания. Какова бы ни была мера философской истины, содержащейся в учении Августина, оно останется высшим оправданием литературы как мифотворчества о времени.

Меня занимал вопрос о предопределении. Как и многие, я пытался понять, каким образом в нашей жизни соотносятся случайность,

свобода выбора и то, что можно было бы назвать программой, вернувшись к первоначальному смыслу греческого слова: нечто "предписанное". Кем — это другой вопрос, может быть, не столь интересный; в конце концов, программой служит и нуклеотидный код — текст, записанный в хромосомах при помощи четырехбуквенного алфавита наследственности. Пример, который показывает, что метафизические предметы могут быть не так уж далеки от положительной науки.

Однажды мне пришло в голову, что можно примирить две взаимоисключающие версии — взгляд на жизнь как на хаос случайностей и как на осуществление некоторого плана, — если представить себе, что мы рассматриваем "жизненный путь" с двух концов. Именно так мы и поступаем, припоминая свою жизнь. Обозреваемый из прошлого, этот путь предстает как непредсказуемый, беспорядочный и случайный, зато при взгляде с другого конца, из "будущего вещей прошедших", улавливаешь в нем некую логику. В конце концов и нейрофизиологи рассуждают о том, что время в мозгу течет слева направо (из левого полушария в правое). Еще один пример вроде упомянутого выше. Но я предпочел бы говорить о д в у х временах. Коротче говоря, я воспользовался этой моделью (истинность которой не подлежит обсуждению, какая тут истина? — литература) в романе, где она служит для организации сюжета. Роман этот был арестован, после чего я написал его заново.

Ему была придана форма воспоминаний, задача которых (для вспоминающего) была не столько реконструировать прошлое, сколько внести в него порядок и смысл. Таким образом, он представлял собой как бы двойное воспоминание.

"Антивремя" (название книги) — это божественное время, время Бога, для которого нет ничего случайного и бессмысленного и которому все известно заранее, ибо он взирает на нас из будущего, подобно тому как писатель пребывает в будущем по отношению к своим героям. В этом смысле Бога нет (как для героев нет автора). Но аналог божественного антивремени присутствует в нашем собственном опыте: это — память, обратное течение времени, которое превращает хаос прошлого в связанный текст. Если угодно антивремя есть метафора литературного творчества.

Антивремя — это миф о предопределении. Это шарлатанская теория полубезумного профессора, который поставил ее на службу своему злокачественному национализму: Большой Прогноз будущего России, освобождающий всех нас от моральной ответственности, от морали вообще, — чему быть, того не миновать. Пародия на "русскую идею", Божий замысел о России и великое предназначение нашей страны. (Один австрийский критик усмотрел в метаастрологии Павла Хрисанфовича Дымогарова пародию на марксизм.)

Наконец, антивремя есть эпоха, в которой живут герои: провал истории, безвременье, нечто противоположное историческому времени; поэтому это роман не только о человеке, который был сыном двух отцов — двух народов, равно потерпевших фиаско, но и о том, как он пытался преодолеть антиисторизм нашего времени, отравленного дыханием лагерей, и захлебнулся в нем.

## 12. Портрет романиста

Достоинство писателя состоит не в том, чтобы жить в истории, но в том, чтобы противостоять истории; очевидно, что это означает жить в своем времени и вопреки ему. Летом 1933 года Музиль вернулся из Германии в Вену. Причиной были не политические события сами по себе, а скорее то обстоятельство, что распался кружок жертвователей, помогавших сводить концы с концами, — по большей части антифашистов и евреев. К тому же он сам был женат на еврейке. Через пять лет немецкие части пересекают австрийскую границу, супруги едут в Италию, вроде бы в отпуск, возвращаются, но не домой, а в Цюрих. Это уже эмиграция. Оттуда перебираются в Женеву, в две комнатки на шестом этаже на rue de Lausanne; вещи, книги — все осталось в Вене, в доме, который погибнет в конце войны. Самому Музилю остается жить два года и десять месяцев. В эти тысячу дней происходит последняя схватка с романом-Минотавром, грандиозным замыслом, который уже давно существует как бы сам по себе и диктует творцу свои условия; итог единоборства — ничья.

"Вообразите себе (пишет он пастору Лежену) буйвола, у которого на месте рогов выросло другое придаточное образование кожи, а именно, две смехотворные мозоли. Вот это самое существо с огромной головой, некогда оснащенной грозным вооружением, от которого остались только мозоли, — и есть человек, живущий в изгнании. Если он бывший король, он говорит о короне, которая была у него когда-то, а люди вокруг думают: небось не корона, а шляпа. В конце концов он и сам начинает сомневаться и не уверен даже, осталась ли у него вообще голова на плечах." Музиль не подписывает никаких заявлений и открытых писем, не ходит на собрания и манифестации; его появление на конгрессе писателей в защиту культуры в Париже в 1935 году, рядом с Брехтом и т.д. было скорее случайностью. Его выступление было странным. Он сказал: "История нашей эпохи развивается в сторону все обостряющегося коллективизма. Политики склонны рассматривать достижения культуры как свою естественную добычу, вроде того как женщины раньше доставались победителям. Я же со своей стороны полагаю, что роскошной культуре подобает женское искусство защищать себя и свое достоинство... Культура предполагает

ет непрерывность и пиетет даже перед тем, с чем борются. Кроме того, можно твердо сказать, что культура всегда была сверхнациональна. Но даже если бы она не носила наднационального характера, она и внутри собственного народа всегда была бы чем-то таким, что живет над временем, служила бы мостом над эпохой провала и соединяла бы живущих с далеким прошлым. Отсюда следует, что тому, кто служит культуре, не положено отождествлять себя без остатка с сегодняшним состоянием его национальной культуры. Культура — не эстафета, передаваемая из рук в руки, как это представляют себе традиционалисты; дело обстоит куда сложнее: творческие умы не столько продолжают культуру как нечто идущее к нам из мглы времен и из других стран, сколько видят в ней нечто такое, что заново рождается в них самих". Разумеется, никто не принял эту диатрибу всерьез.

Между тем начинается война, все валится в тартарары — все речи и все конгрессы; вся шумная деятельность предвоенных лет кажется абсолютно бесполезной; Германия и Советский Союз делят Польшу, немцы занимают Данию и Норвегию, Франция побеждена и выходит из игры, идет воздушная битва за Великобританию, СССР продолжает раздвигать свои границы, корпус Роммеля теснит англичан в Африке, вермахт оккупирует Грецию, Рузвельт и Черчилль провозглашают Атлантическую хартию. Наконец, Гитлер вторгается в Россию, а японцы бомбардируют Пирл-Харбор. Кого в это время может интересовать сложный интеллектуальный роман, действие которого происходит в давно исчезнувшей Какании? Да и сам он все больше становится проблематичным — призрачным, блуждающим, как река в песках.

После того, как Ровольт выпустил в 1930 году первый том, а в 1932 — второй, дело застопорилось; издатель нервничает, время идет, самое имя Музиля мало-помалу отодвигается в малозанятное прошлое: "Разве он еще жив?" Новый издатель готовит к печати продолжение, двадцать глав, готов платить вперед, но гранки, высланные автору для вычитки, так и не возвращаются в типографию: автор считает, что все надо переписывать заново. Роман растет и отмирает по мере роста. Музиль сравнивает себя с человеком, который хочет зашнуровать футбольный мяч размером больше его самого, карабкается на поверхности мяча, мяч все раздувается; отдельные главы переписываются по десять и двадцать раз, кипы исписанной бумаги не умещаются на столе. К этому времени произведения Роберта Музиля уже запрещены на территории рейха, но и без этого он забыт, похоронен при жизни, точнее, погребен под своим чудовищным произведением.



## 12а. Портрет романиста (продолжение)

Статья о Роберте Музиле (Мьюзиле) в последнем издании Британской энциклопедии состоит из одной фразы — пять строк, включая имя автора, даты жизни и название главной книги на двух языках. Статья, посвященная игроку в бейсбол Стэну Мьюзиелу, состоит из 28 строк. Статья о вожде итальянского народа Бенито Муссолини, при крайней сжатости изложения, занимает 480 строк: детство, юность, литературная, ораторская и политическая карьера, всемирно-исторические заслуги, всемирная слава, мировое зрение, семейная жизнь; не упущено ничего, включая подхваченный в юные годы сифилис. Место литературы в жизни общества описывается, таким образом, уравнием:

$$M - M(1) : M(2),$$

где  $M(2)$  — Муссолини, а  $M(1)$  — Музиль.

На авторском вечере в Винтертуре, первом и последнем, где Музиль читал отрывки из романа, присутствовало 15 человек

Посмертный редактор "Человека без свойств" Адольф Фризе составил список отзывов об авторе. В разные годы разные люди говорили о нем так: сдержанный, холодный, надменный, замкнутый, рыцарственный, сама любезность, невероятное самомение, сухой, как чиновник, ни разу не улыбнется, офицерский тон, горд своим фронтовым прошлым, оч-чень интересная личность, ничего подобного — может быть, и крупный человек, но малопрятный, прекрасно одет, есть деньги или нет — костюм от лучшего портного, туфли первый сорт, считает себя недооцененным, держит всех на расстоянии и сам страдает от этого, падок на похвалы и так далее. Однажды, в начале тридцатых годов, это холодное одиночество было нарушено: Музиль написал нечто вроде обращения к собратьям по перу, под заголовком "Я больше не могу". Ледяным тоном, на изысканном немецком языке сообщается, что он погибает от нищеты, нечем платить за квартиру, инфляция сожрала небольшое состояние, и с тех пор он живет от одного случайного заработка до другого; всем на него наплевать, нация равнодушна к своему писателю, но теперь его терпению пришел конец. К записке (оставшейся в бумагах) приложено три "Завещания". При этом оказывается, что все четыре документа — варианты одного и того же текста. Разные повороты мысли, пробы, расползание по плоскости. Он работал над этим криком о помощи так, как работают над прозой, потому что под его рукой все становилось литературой, как все, до чего касался фригийский царь, превращалось в золото. Различные редакции отличаются друг от друга не только стилистиче-

ски. Но так же, как главы романа, они представляют собой не столько ступени совершенствования, сколько реализацию разных возможностей, заложенных в тексте. Все варианты равноценны — в некотором роде писание в разные стороны. Возможно, здесь кроется один из секретов этого творчества, а может быть, и секрет этого человека.

*Der Mann ohne Eigenschaften*, человек без свойств, без "определяющих моментов" и определенных занятий, открытый для всех возможностей, тот, о котором идет речь в двухтысячестраничной, недописанной и скорее всего обреченной остаться недописанной книге, — двойник автора, но не в том смысле, что Ульрих присвоил себе некоторые черты из жизни д-ра Музиля, а в том, что он ведет себя в жизни так, как его создатель ведет себя в литературе: Ульрих олицетворяет парадигму эссеистической литературы.

Такой роман написать до конца, до последней точки нельзя, как нельзя в — геометрическом смысле — заполнить линиями плоскость. Марта Музиль писала о том, что писатель рассчитывал еще на двадцать лет работы. Закончил бы он книгу? Согласно предположению Фризе, Музиль будто бы решил разрубить гордиев узел, заключив ее послесловием от имени состарившегося Ульриха и заодно откликнувшись на события сороковых годов. Кажется более вероятным, что из этого вышел бы просто еще один том, такой же бесконечный и безвыходный.

Полвека назад завершилась литературная революция, итогом которой было исчезновение общеобязательной точки зрения, той высшей внероманной точки, откуда обозревается все пространство прозы. Писатель больше не Наполеон, сидящий на барабане где-нибудь на холме, и еще менее — бог, каким представлял себе романиста Флобер: всезнающим, вседесущим и невидимым, как Бог в природе. Но отказ от безлично-единой точки зрения в новой литературе вовсе не значит, что мы возвращаемся к субъективно-единоличной точке зрения, к позиции наивного рассказчика. Многие люди, прочитав что-то такое у Бахтина, думают, что если в одной главе все описано глазами народа, а в другой — очами государя императора, в одной — с точки зрения Столыпина, а другой — террориста "Мордки" Богрова, то это, стало быть, и есть новейший полифонический роман. На самом деле повествование "глазами такого-то" выглядит такой же литературщиной, если не худшей, кажется еще более невыносимым, натужным и обветшавшим приемом, чем добрая старая манера писать "от автора". Собственно, новая точка зрения — это отсутствие единого и общеобязательного взгляда, кому бы он ни принадлежал. Иначе говоря, прозаик должен раздвинуть индивидуальное сознание героя, соединив его с неким сверхсознанием, принадлежащим всему составу участников, — не столько менять ракурс, перескакивая от одного к другому, от "него" к "ней" и обратно, все это уже исчерпано, изноше-

но до лохмотьев, — сколько совместить противоположные и в обыкновенной жизни несовместимые ракурсы. Конечно, это означает размывание контуров героя, размывание всей концепции литературного персонажа, сосуществование двух природ — корпускулярной и волновой. Неоднозначность точки зрения, молчаливая презумпция, что излагаемая в данный момент версия событий есть именно версия, не более чем версия, и что любая оценка — лишь одна из возможных, скользкое светлое пятно в темном поле возможностей, — собственно, и есть то, что мы подразумеваем под литературным эссеизмом. Может быть, такое фасеточное зрение — черта неуловимой *Postimoderne*. В таком случае, мне известен только один постмодернист в современной русской литературе — да и тот не прозаик: Бродский.

## 126. Вздохи летнего дня

Гипотезы о том, почему роман не удалось закончить, в свою очередь образуют поле возможностей, аналогичное пространству самого романа. В бумагах встречаются заметки, которые стоят целых трактатов.

"То, что в этих разговорах так много приходится распространяться о любви, имеет тот основной недостаток, что вторая жизненная опора, второй столп, злое, страстное начало, начало вождения — проявляет себя так слабо и с таким запозданием! Просчет состоял в переоценке теории. Она не выдержала нагрузки; во всяком случае, оказалась не столь важной, как представлялось до осуществления задуманного. Я давно уже это понял, теперь приходится расплачиваться. Вывод: не отождествляй себя с теорией. Отнесись к ней реалистически (повествовательно). Не изобретай теорию невозможного, но взирай на происходящее и не питай честолюбивой уверенности, будто ты владеешь всей полнотой познания".

"Теория" — это система оценок, сложный комментарий к "происходящему", внешне приписанный главному герою, но очевидным образом выходящий за его горизонт; это и есть то самое расползание героя, вследствие которого он превращается в сверхперсонаж и перперсонаж, субститут автора-бога в классическом романе. Но при такой нагрузке герою некогда жить. Вместо того чтобы любить, страдать и вождеть, он без конца говорит о страсти и вождении. Одно из объяснений, почему роман не окончен, — крах эссеизма.

Вообще же говоря, пассивный герой — одна из вечных проблем романистики. Эссеистический герой, который неспособен сделать выбор, остановиться на определенном наборе свойств и начать, наконец, совершать поступки, — именно из-за того, что он герой эссеисти-

ческого романа. Все в жизни Ульриха остается пробой и экспериментом, в том числе самый смелый опыт, попытка достичь экстаза, не покидая царство разума, — загадочное "другое состояние", *l'aghelle Mystik*, слияние с другой душой, нечто вроде бесконечно длящегося соития, но не в вагнеровской ночи, а под полуденным солнцем, при свете бодрствующего интеллекта. Эта другая душа — сестра-близнец Агата, с которой Ульрих, оставив общественную деятельность, встречается в доме умершего отца после того, как много лет брат и сестра ничего не знали друг о друге. Но то, что должно произойти — инцест, — так и не происходит, точнее, растворяется в бесконечном незавершенном сближении, в разговорах, в томительном бездействии летнего дня: *Atemzuge eines Sommertages*.

Над этой главой — "Вздохи летнего дня" — Музиль сидел с утра 15 апреля 1942 года, в двадцать минут десятого зарегистрировал в тетрадке, заведенной по совету врача, первую сигарету, в одиннадцать часов — вторую. В час дня, собираясь принять ванну перед обедом, он умер. Могилы Музиля нет; пепел, по семейной традиции, жена развеяла в лесу под Женевои.

Издание осуществлено за счет средств авторов.  
Подписано в печать с оригинал-макета 10.10.91.  
Формат  $70 \times 100^{1/32}$ . Печ. л. 8,0. Усл.-печ. л. 10,4.

Уч.-изд. л. 10,84. Печать офсетная.

Бумага картографическая. Гарнитура «Таймс».

Тираж 2500. Цена 6 руб. Заказ 1622.

Офсетный участок а/п «Ленгипроводхоз».

Издательство «Путь»  
ЛИЦЕНЗИЯ ЛР № 040077